

ОТРАЖЕНИЕ

The image is a book cover for 'Отражение' (Reflection) by Evgeniy Volf. It depicts a man with a beard, seen from the side, wearing a dark uniform. He is looking out of a train window. In the reflection of the window, a pale, featureless face with a slight, unsettling smile is visible. The background inside the train is dark, with some red lights visible in the distance. The title 'ОТРАЖЕНИЕ' is written in large, white, distressed letters at the top. At the bottom, the author's name 'ЕВГЕНИЙ ВОЛЬФ' is written in white, and below it, 'СОСЕДИ • КНИГА ПЕРВАЯ' is written in smaller white letters.

ЕВГЕНИЙ ВОЛЬФ

СОСЕДИ • КНИГА ПЕРВАЯ

Евгений Вольф

Отражение

<https://litres.ru/74663612>

SelfPub; 2026

Аннотация

Книга 1 серии «Соседи».

Пятнадцать лет Илья Корнеев стоит у рамки металлоискателя на старой станции глубокого заложения. Он пьёт ровно столько, чтобы не дрожали руки, и давно ничему не удивляется.

Пока однажды отражение пассажира в тёмном окне уходящего поезда не качается на полсекунды позже, чем сам пассажир.

Всё можно объяснить: похмелье, недосып, усталость. Камеры ничего не показывают, коллеги крутят пальцем у виска. Илья и сам хочет поверить, что это белая горячка, и бросает пить.

Но трезвость ничего не лечит. Она только делает картинку чётче.

Не смотри в тёмное стекло. Особенно когда свет падает сверху.

Содержание

Глава первая. Полсекунды	4
Глава вторая. Шов	21
Глава третья. Задержание	38
Глава четвёртая. Пыльное стекло	55
Глава пятая. Ведро	71
Глава шестая. Эскалатор	87
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Евгений Вольф

Отражение

Глава первая. Полсекунды

Будильник Илья ставил на без десяти три, хотя смена начиналась в четыре, а дорога до станции занимала десять минут пешком. Полчаса уходило на то, чтобы собрать тело обратно в рабочее состояние: холодная вода на лицо, две кружки растворимого кофе подряд, долгая разминка кистей, которые к утру сводило так, что пальцы не сразу сгибались в кулак. Форма висела на гвозде у двери, отглаженная с вечера, — единственная вещь в квартире, которую он содержал в порядке, потому что за мятую форму делали замечание, а за неубранную квартиру пока ещё никто не делал.

Кухня встретила его привычной темнотой. Свет он не включал из принципа: глаза, привыкшие к лампочке над плитой, потом полчаса слепли в полумраке вестибюля, а за полчаса слепоты на посту можно пропустить что угодно, от забытого рюкзака до человека с ножом. На столе стояла плоская фляжка из нержавейки, початая с вечера. Илья взвесил её на ладони, прикинул на слух, сколько там плещется, и сделал два глотка, не больше. Норма была выверена годами, как дозировка у фармацевта: достаточно, чтобы руки не тряс-

лись к середине смены, и недостаточно, чтобы кто-нибудь унюхал сверх обычного фона, который все давно унюхали и перестали обсуждать вслух.

На холодильнике, под магнитом в виде черноморской ракушки, висела фотография, пожелтевшая по краям, потому что провисела так больше десяти лет. Илья на неё не смотрел. Он давно перестал смотреть в ту сторону кухни и уже не замечал, что делает.

Он вышел из дома в двадцать минут четвёртого. Улица была пуста, фонари горели через один — экономия добралась и до района, не только до вестибюлей, — и Илья шёл своей обычной дорогой, глядя под ноги: смотреть по сторонам в этот час было не на что. Мусоровоз урчал где-то за домами. Над круглосуточной аптекой мигал зелёный крест, и в его свете асфальт отливал болотом. Пахло мокрыми листьями и остывшим за ночь бетоном.

* * *

На станцию он вошёл через служебный вход. Эскалаторы ещё стояли. Илья пошёл вниз пешком, по неподвижным рифлёным ступеням, держась за чёрный резиновый поручень, который в выключенном состоянии был холодным и чуть липким на ощупь. Станция была глубокого заложения, одна из старых, сталинских, и спуск на своих двоих занимал почти четыре минуты. Лампы-торшеры вдоль балюстрады горели через одну, и шахта уходила вниз ступенчатой тенью, в конце которой светлел вестибюль.

На середине спуска у Ильи всегда начинало закладываться уши. Он сглатывал, в голове щёлкало, и мир на секунду становился ватным, а потом снова резким. Каждую смену одно и то же, и ни разу он не додумался спросить, нормально ли это или только у него так.

Внизу, за стеклом дежурки, заспанная дежурная подняла глаза от кроссворда, только чтобы опознать форму, и тут же вернулась к девятому по вертикали.

Нина Аркадьевна сидела в этой дежурке уже тогда, когда Илья пришёл на станцию. Под каждый Новый год она приносила на смену сетку мандаринов и раздавала всем по одному, а Илье выбирала самый большой, с зелёным листиком на черенке: «Бери, Корнеев, вид у тебя голодный». В какой-то год мандаринов не стало. Илья не помнил, в какой, и не помнил, заметил ли он это тогда.

Станция была устроена не так, как нынешние: после реконструкции шестидесятых турникеты здесь стояли не наверху, а в нижнем вестибюле, у самого выхода на платформу, и с поста была видна вся платформа до чёрного устья тоннеля. Пост номер три стоял у крайнего левого турникета: раскладной железный стул, откидной столик, пластиковый лоток для досмотра и сама рамка металлоискателя — серая, облупленная по углам, с наклейкой инвентарного номера, которую кто-то давно пытался отковырять ногтем и бросил на половине. Рамка барахлила. На холоде она то звенела на пряжку ремня, то молчала на связку ключей, и Илья

давно научился работать не столько по её сигналу, сколько по лицам: как человек подходит, куда смотрит, что делает руками. Лица ввали реже, чем рамка.

Станция дышала на него сыростью и креозотом. Этот запах Илья различил бы с закрытыми глазами — густой, смолистый запах пропитанных шпал, который поднимался из тоннелей, въедался в форму и волосы и выветривался только к следующей смене. Когда-то, в самом начале, он приносил этот запах домой, и дома морщились. Потом дома стало некому морщиться.

Голова гудела ровно, без пиков. Вчера он рассчитал правильно: три четверти фляжки, растянутые на весь вечер, закуска, стакан воды перед сном. От прежних планов осталась одна функциональность. Раньше он метил в старшие смены, потом в смены получше, потом в то, чтобы не попасть под сокращение, а теперь — в то, чтобы руки не дрожали при досмотре сумки и голос не плыл, когда нужно сказать пассажиру: «Пройдите, пожалуйста, ещё раз».

* * *

Свет в вестибюле горел вполнакала. Люминесцентные трубки под сводом потрескивали, и тени на гранитном полу подрагивали. Вдоль турникетов шла со шваброй тётя Валя, уборщица, маленькая, круглая, в синем рабочем халате поверх вязаной кофты. Ведро на колёсиках дребезжало за ней по граниту. Она работала здесь дольше Ильи и была, пожалуй, единственным человеком на станции, который разгова-

ривал с ним без того особого выражения лица, каким разговаривают с безнадежно больными.

— Опять ни свет ни заря, — сказала она, поравнявшись с постом. — Тебе дома не сидится?

— Смена, тётъ Валь.

— Смена у тебя с четырёх, а ты в полчетвёртого уже тут торчишь. Я видела.

Она порылась в кармане халата и выложила на откидной столик две сушки с маком, завёрнутые в салфетку.

— На. А то опять до обеда на одном кофе.

Илья хотел сказать, что не надо, и не сказал. Тётя Валя уже ехала дальше со своим ведром, и в мутной воде ведра колыхался опрокинутый вестибюль: своды, лампы, её собственное круглое лицо, разбитое рябью на куски.

* * *

Первый пассажир подошёл к рамке в половине шестого, как только открыли двери: мужчина лет пятидесяти в оранжевой спецовке, судя по кирпичной пыли на ботинках — со стройки через дорогу. Рамка промолчала. Мужчина кивнул Илье, как коллеге по несчастью, и пошёл к платформе, ссутулившись. Илья проводил его взглядом до самого поворота, потому что так было легче, чем держать глаза открытыми без всякой цели.

Вторая пассажирка тащила две огромные клетчатые сумки, и рамка зазвенела так, будто в сумках лежал слиток. Илья попросил поставить их на столик, расстегнул верхнюю. Бан-

ки, трёхлитровые и литровые, с огурцами, с чем-то красным, с чем-то тёмным и густым, каждая обмотана полотенцем, чтобы не побились. Крышки железные, отсюда и звон. Молнию он застегнул сам, потому что у женщины руки дрожали от тяжести сильнее, чем у него — от вчерашнего.

— Спасибо, сынок, — сказала она.

Ему было тридцать шесть. Сынком его не называли с тех пор, как умер человек, который так его называл. Илья не нашёл, что на это ответить, и женщина покатила сумки к платформе, наклоняясь вперёд, как против ветра.

Так прошёл первый час.

* * *

Второй пост, у прохода к эскалаторам, в эту смену держал Марат — молодой, второй год в форме, ещё не успевший заматереть в равнодушии. Около семи он пришёл с двумя пластиковыми стаканчиками чая из автомата и поставил один Илье на угол столика, рядом с сушками.

— Ты опять раньше всех, — сказал Марат. Голос у него по утрам был с хрипотцой и прочищался только к десяти, после второго стаканчика.

— Всегда раньше всех.

— От тебя коньяком.

— От меня всегда коньяком.

Марат хмыкнул и не стал развивать тему. Это была отработанная, слегка усталая вежливость, и за ней Илья давно научился различать презрение, аккуратно упакованное в при-

личия, как банки в полотенце. Полгода назад тот же Марат ещё пытался вытащить его покурить, спрашивал: «Ты как вообще, брат?» Теперь просто ставил стаканчик на угол стола и уходил. Это тоже было по-своему честно, и Илья не держал на него зла.

Чай он пить не стал. Руки замёрзли, а от горячего пластика стало только хуже: контраст тепла и холода всегда отзывался в пальцах наждаком. Он отставил стаканчик, потёр лицо ладонями и на секунду, в темноте за закрытыми веками, почувствовал, как пол вестибюля ухнул куда-то вниз, как лифт с оборванным тросом. Он открыл глаза. Пол был на месте: гранит, трещина у турникета, окурок, который тётя Валя ещё не успела снести. Просто организм после вчерашнего требовал сна, а сна не полагалось ещё пять часов.

* * *

В семь двадцать к платформе подошёл состав. Илья услышал его раньше, чем увидел: низкий гул из-под ног, потом нарастающий шум воздуха, который поезд толкал перед собой из тоннеля, как поршень. Сквозняк прошёлся по вестибюлю, шевельнул обрывок рекламной листовки на полу. Двери с шипением выплеснули на платформу народ — пока ещё негусто, час пик начнётся позже, — и Илья по привычке скользнул взглядом по толпе, ища то, что положено искать. Свёртки без хозяина. Нервные руки. Человек, который стоит, когда все идут. Ничего.

Двери закрылись. Состав тронулся.

Илья посмотрел ему вслед. Все эти годы, по многу раз за смену, он провожал взглядом уходящие поезда без всякой служебной надобности, просто чтобы глазам было за что зацепиться.

В тёмном окне предпоследнего вагона стоял мужчина в серой куртке. Держался за поручень, лицом почти к стеклу.

Вагон качнуло на входе в кривую перед тоннелем.

Мужчину качнуло вместе с вагоном.

Отражение — нет.

Отражение качнулось потом. На полсекунды позже. Следом за вагоном, как эхо.

Илья моргнул. Состав уже втягивался в тоннель. Окна из зеркальных стали угольными, и там, где было отражение, осталась одна чернота с редкими прочерками аварийных ламп на стене тоннеля. Гул ушёл вглубь, сквозняк стих, листовка улеглась на пол.

Он постоял, глядя в пустой тоннель. Сердце стучало часто и мелко, где-то под самым горлом.

Померещилось. Недосып, вчерашнее, глаза, которые три часа пилились в полумрак. Это называется простым словом: «устал».

Он вернулся к рамке. Досмотрел пассажира с гитарой в мягком чехле, студентку с огромной папкой для чертежей, деда с тележкой, в которой ехала рассада, укрытая газетой. И постепенно тот полусекундный сбой начал затираться, как любая мелкая несостыковка, которую мозг стирает сам, каж-

дую минуту, чтобы картина мира не мешала жить.

* * *

К восьми поток стал плотным, и Илья перестал различать лица — только силуэты сумок, звон рамки, собственный голос, повторяющий одно и то же. Голова прояснялась медленно, но верно: похмелье отступало к середине смены, это он знал точнее, чем расписание поездов.

Именно тогда, в самой гуще потока, это случилось снова.

Слева от поста была дверь служебного помещения — старая, деревянная, с застеклённой верхней половиной. Стекло было заклеено изнутри матовой плёнкой, которая давно отошла по краям и пошла пузырями. За ним угадывался красный пожарный шкаф. Под определённым углом, когда свет от ламп падал сверху, а в подсобке было темно, эта дверь работала как тусклое кривое зеркало, и Илья привык видеть в нём краем глаза бесконечное шествие искажённых пассажиров.

Пожилая женщина в синем драповом пальто прошла через рамку. Рамка промолчала. Женщина пошла дальше, к платформе, мимо двери.

В мутном стекле её отражение повернуло голову.

Сама женщина голову не поворачивала. Шла прямо, смотрела перед собой.

А отражение уже смотрело вбок. На пост. На Илью.

Затем женщина повернула голову — обычным, живым движением, будто искала указатель, — и отражение совпало

с ней, легло на неё, как калька на рисунок. Одна женщина, одно отражение. Всё сходится.

Илья перевёл взгляд со стекла на женщину. Она нашла указатель и пошла к платформе, чуть прихрамывая на левую ногу. Он посмотрел обратно на дверь. Женщина уже вышла из угла отражения, и плёнка показывала только размытый силуэт пожарного шкафа и тени идущих людей, растянутые пузырями до неузнаваемости.

Во рту пересохло. Ладони взмокли, хотя пальцы оставались ледяными. Под рёбрами тянуло холодом, словно он проглотил кусок льда и тот никак не таял.

— Пройдите, пожалуйста, — сказал он следующему пассажиру, парню в наушниках, и услышал, что голос сел.

Парень прошёл. Илья заставил себя вдохнуть на четыре счёта, задержать, выдохнуть. Приём с обязательного курса по стрессоустойчивости, который он прослушал три года назад вполуха, ради подписи в ведомости. С тех пор ни разу не пригодилось.

Давление, сказал он себе. Два глотка на голодный желудок, две кружки кофе, четыре часа на холоде. Сосуды. Он почти поверил в это — до той секунды, пока не вспомнил, что женщина в стекле повернула голову раньше, а не позже. Сосуды могли бы объяснить, почему картинка запаздывает. Но никак не объясняли, почему она может опередить.

* * *

Через полчаса, когда поток ненадолго схлынул между дву-

мя поездами, Илья сделал то, чего делать не собирался. Встал со стула, отошёл от рамки на два шага влево и развернулся так, чтобы дверь подсобки оказалась у него перед глазами, а вестибюль отражался в ней под тем же углом, под каким он видел женщину в синем пальто.

Со стороны это выглядело, наверное, так, будто инспектор разглядывает пожарный шкаф. Илья не думал о том, как это выглядит. Он смотрел в плёнку.

Плёнка показывала вестибюль, растянутый и смятый, как отражение в ложке. Лампы под сводом превратились в размазанные белые полосы, турникеты — в частокोल кривых серых столбиков. Пассажиры шли сквозь это кривое пространство, и каждый, попадая в стекло, на миг вытягивался, потом распадался на пузыри и собирался снова на другом краю двери. Мужчина с портфелем. Две девушки в одинаковых белых куртках. Курьер с огромным квадратным коробом за спиной. Старик с палкой.

Все совпадали. Каждый поворот головы, каждый шаг — в стекле ровно тогда, когда в жизни. Илья ловил себя на том, что ищет хоть тень запаздывания, и не находил, и от этого становилось только хуже: если сейчас всё совпадало, то либо тогда ему померещилось, либо дело было в той женщине.

Он заметил и другое. Когда над дверью мигнула лампа и на секунду погасла, отражение в плёнке пропало почти целиком — стекло стало просто мутным и пустым. Когда лампа загорелась снова, отражение вернулось. Выходило, что

это кривое зеркало работало только при определённом свете: сверху, под углом, и чтобы в подсобке было темно. Илья изучал дверь, как следователь изучает место преступления, в котором не было никакого преступления.

— Илюх, ты чего? — окликнул его Марат со своего поста.

— Шкаф проверяю. Пломба, — соврал Илья и вернулся на стул.

Марат посмотрел на него чуть дольше, чем требовала вежливость, и ничего не сказал.

* * *

Остаток смены он старался не смотреть в отражающие поверхности без нужды. Получалось плохо: станция вся была из них. Чёрное стекло закрытого газетного киоска. Полированный медный кант на балюстраде. Нержавеющий бок урны. Тёмное стекло кассы, за которым никто не сидел с тех пор, как поставили автоматы. Лужа у служебного входа, куда вечно капало с потолка, — капля падала, и свод в луже рассыпался и собирался снова. Илья проходил мимо каждой такой поверхности с новым, неприятным напряжением в плечах, будто ждал, что в углу зрения что-то опять качнётся не в такт.

Ничего не качалось. Отражения вели себя как положено: повторяли, отставали настолько, насколько отставал свет, и молчали.

Около десяти тётя Валя снова проехала мимо со своим ведром и остановилась.

— Ты чего белый такой?

— Не выпался.

— Ты всю жизнь не выпался, а белый только сегодня.

— Она посмотрела на нетронутые сушки, на остывший чай, покачала головой. — Съешь хоть одну. Ну?

Он съел одну, чтобы она ушла. Сушка крошилась во рту, мак застревал в зубах, и вкус был как у картона. Тётя Валя удовлетворённо кивнула и покатила ведро к эскалаторам. Илья смотрел ей вслед и старался не смотреть на воду в ведре.

* * *

Смена закончилась в полдень, но ушёл он в половине первого: начальник участка задержал всех на разбор вчерашнего инцидента на соседней станции, где пьяный турист разбил витрину киоска. Стандартная бумажная волокита, которая к Илье не имела никакого отношения, кроме того, что отняла полчаса сна. Он сидел в душевой подсобке, слушал про порядок составления актов, кивал вместе со всеми и смотрел на свои руки. К этому часу они уже слегка подрагивали, но ручку держать пока было можно.

Начальник участка, Геннадий Петрович Сомов, грузный, красный, с вечно расстёгнутой верхней пуговицей форменной рубашки, читал инструкцию вслух, водя пальцем по строчкам, и время от времени поднимал глаза, проверяя, не спит ли кто. На Илье его взгляд задерживался дольше, чем на остальных. Илья чувствовал этот взгляд кожей, как сквоз-

няк из-под двери.

После разбора, когда все потянулись к выходу, Сомов сказал, не повышая голоса:

— Корнеев, задержись.

Марат, уже стоявший в дверях, обернулся, встретился с Ильёй глазами и быстро вышел.

Сомов подождал, пока шаги в коридоре стихнут, сел на край стола, отчего стол скрипнул, и некоторое время молча смотрел на Илью. Пахло от него табаком и мятной жвачкой, которой он безуспешно этот табак перебивал.

— Мне Марат сказал, ты сегодня у подсобки полчаса стоял. В стекло пялился.

— Пломбу проверял на шкафу.

— Полчаса пломбу. — Сомов вздохнул так, будто жалел прежде всего себя, вынужденного вести этот разговор. — Слушай. Я тебя не первый год знаю. Я тебя прикрывал, когда тебя надо было не прикрывать, а гнать. Помнишь, что было в прошлом году? Помнишь. И в позапрошлом. Я не спрашиваю, сколько ты пьёшь, пока ты стоишь на посту ровно. Но если начнёшь на посту чудить, мне придётся спрашивать. И тебе не понравится, чем это кончится.

— Я не чудил.

— Вот и не чуди. — Сомов слез со стола. — В конце месяца медкомиссия. Плановая. Подумай, как ты её будешь проходить.

Он вышел, не оглядываясь, и Илья ещё минуту сидел один

среди пустых стульев, глядя на свои руки, которые теперь дрожали заметнее, чем полчаса назад, и которые он зажал между коленями, чтобы не видеть.

В раздевалке над раковиной висело зеркало — квадратное, в пятнах отставшей амальгамы по углам. Сегодня Илья умылся и вытер лицо жёстким казённым полотенцем, не поднимая головы, и вышел, так ни разу и не взглянув в ту сторону. Уже в коридоре поймал себя на этом и разозлился. Взрослый мужик, инспектор со стажем, а прячется от зеркала в раздевалке, как ребёнок, которому рассказали про Пиковую даму.

Наверх он поднялся через дальний выход — тот, что вёл не на площадь, а в переулок за торговыми павильонами. Короткая дорога к дому, которой он пользовался годами, потому что там было меньше людей и меньше необходимости с кем-то здороваться.

В переулке светило бледное осеннее солнце, и после девяти часов под землёй от него ломило глаза. У ларька с шаурмой стояла очередь из трёх человек, из-за прилавка валил пар и пахло жареным луком. Витрина у ларька была тонированная, чёрная, и в ней, как в выключенном телевизоре, отражался весь переулок — асфальт, мусорный бак, серый борт припаркованной «газели», небо.

Илья шёл мимо и смотрел себе под ноги. На трещину в асфальте, в которой торчала жёлтая травинка. На крышку люка с выпуклыми буквами. На что угодно, лишь бы не на

эту витрину.

За спиной продавец крикнул кому-то «С собой или здесь?», звякнула мелочь, хлопнула дверца холодильника с газировкой. Илья слышал, как в очереди двое мужчин спорят о футболе, как девушка смеётся в телефон, как шипит на плите мясо, и изо всех сил держал в голове именно эти звуки, живые, человеческие, потому что они не отражались ни в каком стекле и им, в отличие от картинки, пока ещё можно было верить.

Он дошёл до угла, так и не подняв головы.

* * *

Дома он задёрнул шторы, хотя было всего час дня. Разулся, не развязывая шнурков. Форму повесил на гвоздь у двери — аккуратно, за плечики, потому что форма есть форма, — а потом сел на кухне в темноте и достал из шкафчика бутылку, из которой вчера вечером наполнял фляжку.

Норма на вечер была три четверти фляжки. Он налил половину стакана и выпил в два глотка. Налил ещё. Где-то на задворках сознания аккуратный внутренний фармацевт, который годами отмерял ему дозы, сказал, что завтра это аукнется: руки начнут трястись не к полудню, а к девяти, и Марат, и начальник участка, и все остальные это увидят. Илья выслушал его и налил третий.

Тепло пошло по груди, потом в плечи, отпустило то место под рёбрами, где весь день лежал кусок нарастающего льда. Женщина в синем пальто отодвинулась куда-то далеко,

за плёнку, за пузыри. Мужчина в поезде уехал в тоннель. Их обоих можно было теперь рассмотреть спокойно, со стороны, как случаи из чужой медицинской карты. Галлюцинации при абстиненции. Он читал об этом. Кажется, это начинается как раз так: с мелочей, с краешка глаза, с того, что тень шевельнулась не туда.

Только вот абстиненции у него не было. Он не бросал. Он пил каждый день пятнадцать лет, аккуратно, как лекарство.

Он ушёл в комнату и лёг на диван, не раздеваясь. Напротив дивана, на тумбе, стоял старый телевизор с большим выпуклым экраном, выключенный так давно, что Илья уже не помнил, когда включал его последний раз. В чёрном экране отражалась комната: полоска света между шторами, спинка стула, тёмная груда дивана и на ней — он сам, маленький и выгнутый выпуклостью стекла.

Илья смотрел на своё отражение. Отражение лежало неподвижно, как и он.

Он не шевелился минуту. Две. Не моргал, пока глаза не начало жечь. Отражение тоже не шевелилось. Всё сходилось.

Потом он встал, взял с крючка в прихожей старое банное полотенце и накинул его на телевизор. Лёг обратно. Закрыв глаза.

Из форточки тянуло сквозняком, и край полотенца едва заметно покачивался, то закрывая, то приоткрывая узкую полоску чёрного выпуклого стекла у самого низа экрана.

Глава вторая. Шов

Проснулся он от того, что задыхался. Простыня под спиной была мокрой насквозь, и первые несколько секунд Илья не понимал, где лежит и почему над ним серое пятно вместо потолка. Потом пятно стало потолком, а комната — комнатой. Телефон показывал без двадцати три. До звонка оставалось десять минут.

Он сел на диване и посмотрел на свои руки. Обычно к полудню руки дрожали мелкой рябью, которую можно спрятать, сжав кулаки. Сейчас их трясло крупно, всей кистью. Внутренний фармацевт оказался прав: три стакана вместо нормы, и вот расплата, раньше срока и с процентами.

На кухне он долго стоял над раковиной, держась за её край обеими руками, и ждал, пока пройдёт тошнота. Кран капал, и каждая капля ударяла в жестяное дно так, будто кто-то стучал ногтем по виску. Фляжка стояла на столе там, где он её оставил. Илья налил в неё из бутылки, пролив половину на клеёнку, потому что горлышко плясало, и сделал глоток, потом ещё один. Рука потянулась за третьим и остановилась на полпути.

Медкомиссия в конце месяца. Сомов сказал это вчера без угрозы, в голосе, почти устало, и именно поэтому звучало страшнее. Илья знал, как проходят плановые комиссии: нарколог, которому всё равно, давление, которое не врёт, и тре-

мор, который видно, когда вытягиваешь руки перед собой и растопыриваешь пальцы. Три года назад он проскочил, потому что за неделю до комиссии пил вдвое меньше и отлежался. Сейчас до конца месяца оставалось семнадцать дней.

Он завинтил крышку. Сегодня будет два глотка, и вечером тоже немного, а потом ещё меньше, и к комиссии он встанет перед наркологом с руками ровными, как у хирурга. Он сказал это себе одними губами и сам услышал, как неубедительно это прозвучало.

Фотография на холодильнике белела в темноте прямо-угольником. Он на неё не посмотрел.

* * *

К началу смены руки успокоились настолько, что он смог застегнуть все пуговицы на кителе с первого раза. Эскалатор снова стоял. Илья спускался пешком, считая ступени, чтобы не думать ни о чём другом, и на середине спуска, как всегда, заложило уши.

Внизу горел тот же тусклый свет, пахло тем же креозотом, и рамка номер три стояла там же, облупленная, с недоотко-вырянной наклейкой. От этой одинаковости на секунду стало легче. Станция была прежней, а в нём самом что-то изменилось, какая-то резьба внутри начала проворачиваться.

Тётя Валя появилась около пяти, толкая перед собой вед-ро. Посмотрела на него внимательно, по-птичьи наклонив голову.

— Трясёт?

— Нормально.

— Вижу я, как нормально. — Она достала из кармана халата уже знакомую салфетку, но вместо сушек в ней лежали два куска сахара-рафинада. — На, под язык. Сахар от этого первое дело. Мой покойный тоже так.

Она не стала объяснять, что именно так делал её покойный, а Илья не стал спрашивать. Он положил кусок сахара под язык, и сладость после горечи во рту была такая резкая, что свело скулы.

Тётя Валя не уезжала. Она вытерла ладонь о халат, достала из другого кармана телефон в розовом резиновом чехле, с трещиной через весь экран, и долго тыкала в него пальцем, отодвинув от глаз на всю длину руки.

— Во. Глянь-ка. Дениска мой. В первый класс пошёл, с сентября в прописях сидит. — Она повернула экран к Илье. — Это он «щ» пишет, целую строчку. Учительница одну красным обвела, а за что, не написала. Правильно он пишет или нет? Я уж не помню, как нас учили.

На снимке был разворот тетради в косую линейку, снятый криво, с тенью от чьей-то руки. Строчка крупных старательных букв с наклоном вправо, одна налезала на другую. У каждой снизу торчал хвостик, у некоторых загнутый петлёй. Одна буква в середине строки была обведена красной ручкой.

Илья взял телефон, чтобы разглядеть, и экран у него в руке заплясал. Он прижал локоть к боку.

— Хвостик короткий должен быть, — сказал он. — Вниз и чуть вправо. Без петли. Эту, наверное, за петлю обвели.

— Без петли, — повторила тётя Валя. Она забрала телефон и посмотрела на экран, сверяя. — Я ему так и скажу. Он у меня левша. Учительница переучить хотела, а я не дала. Пусть левой пишет, зато сам.

Она убрала телефон в карман, постояла ещё, глядя куда-то мимо поста, и покатила ведро дальше. Илья смотрел ей вслед и почему-то думал о том, что за все эти годы так и не узнал её фамилию.

В начале шестого у стеклянной будки полицейского поста у противоположной стены вестибюля сменился наряд. Двое старых, которых Илья знал в лицо, ушли наверх, а вместо них заступили двое других: один постарше, грузный, с сонными глазами, а второй совсем молодой, почти мальчишка, в отглаженной форме с новенькими, недавно пришитыми сержантскими лычками, которые на нём смотрелись как на ребёнке, надевшем отцовский китель. Молодой стоял у будки навытяжку. Илья отметил его краем глаза, как отмечал всё и всех, и забыл.

* * *

В шесть сорок, между двумя поездами, Илья поймал себя на том, что смотрит на тоннель.

Мимо пассажиров и рамки, мимо своих рук, которые снова начинали мелко подрагивать, — на чёрный полукруглый провал в конце платформы, откуда должен был вынырнуть

следующий состав. Он смотрел специально и ждал, и понимал, что ждёт, и злился на себя, и всё равно не мог отвести глаз.

Состав пришёл. Двери выпустили людей, выпустили других, закрылись. Поезд тронулся, и Илья, стоя у рамки, повернул голову под тем же углом, под каким вчера смотрел вслед предпоследнему вагону.

Окна скользили мимо, пока ещё светлые, с людьми внутри. Первый вагон нырнул в тоннель, его окна разом почернели, и в них, как на фотобумаге в проявителе, начали проступать отражения. Второй вагон. Третий. В каждом окне — пассажиры, в каждом тёмном стекле — их двойники, бледные, плоские, прижатые к черноте с той стороны.

В четвёртом вагоне у двери сидела девушка в бежевом пальто. Читала книгу, наклонив голову. В стекле её отражение тоже читало книгу, тоже наклонив голову.

Потом отражение подняло лицо.

Девушка не поднимала. Она читала. А её отражение подняло голову от книги и повернулось к стеклу прямо, анфас, будто к объективу фотоаппарата, и Илья увидел, что лица у отражения нет.

Там, где у человека глаза, нос и рот, у этого было гладкое, чуть вытянутое вниз, как капля бледного воска, и только ниже середины тянулась поперёк тонкая тёмная черта, словно кто-то провёл по воску ногтем. Шов без губ. Черта чуть изогнулась, края её поползли вверх, и Илья понял, что это

улыбка, за полсекунды до того, как вагон нырнул в тоннель целиком и всё стало одной сплошной чернотой.

Пластиковый лоток для досмотра выпал у него из рук и ударился о гранит. Звук раскатился под сводом, как выстрел. Мелочь, которую какой-то пассажир забыл в лотке час назад, рассыпалась и покатилась во все стороны, звеня.

Молодой сержант у полицейской будки дёрнулся и повернул голову. Марат со своего поста посмотрел тоже. Илья стоял, не двигаясь, и не мог заставить себя наклониться за лотком. В ушах шумело, как на середине эскалатора. Под языком всё ещё лежал недотаявший огрызок сахара, и сладость его стала тошнотворной.

Наконец он наклонился, поднял лоток и начал собирать монеты. Пальцы не слушались. Последняя монета выскальзывала раз за разом, пока он не прижал её ладонью к полу и не сгрёб в кулак. Когда он выпрямился, сержант у будки уже снова смотрел в вестибюль, а Марат — в свой телефон.

* * *

На перерыв он ушёл в половине девятого. Подсобка для персонала располагалась за служебной дверью в конце платформы: узкая комната с продавленным диваном, столом, электрическим чайником и календарём с котятками, который висел здесь уже третий год и так и остался на марте. Марат сидел за столом и ел бутерброд из пакета.

Илья налил себе кипятку, бросил в чашку пакетик, сел напротив. Решиться было труднее, чем он думал.

— Марат, — сказал он наконец. — Ты когда поезда провожаешь... Ну, когда состав уходит в тоннель, и окна тёмные становятся. Ты в них когда-нибудь смотрел?

Марат поднял глаза от бутерброда.

— В смысле?

— В отражения. Там же всё отражается, когда вагон в тоннеле. Люди. Ты не замечал, чтобы они... — Илья поискал слово. — Чтобы они не совпадали?

— Кто не совпадал?

— Отражения. С людьми.

Марат перестал жевать. Посмотрел на Илью, потом на его руки, лежавшие на столе по обе стороны от чашки, и Илья тут же убрал их под стол.

— Илюх, — осторожно сказал Марат. — Ты это... нормально себя чувствуешь?

— Нормально. Я просто спрашиваю.

— Ты у меня спрашиваешь, не видел ли я, как отражения в поезде живут отдельно от людей. — Марат отложил бутерброд. — Это вот так ты просто спрашиваешь?

— Забудь.

— Не, погоди. — Марат наклонился через стол. Лицо у него было скорее испуганное, и от этого было хуже, чем если бы он смеялся. — У меня дядька так начинал. Тени, говорил, по углам шевелятся. А потом его в три часа ночи с балкона снимали. Ты бы к врачу ходил, серьёзно. Не к нашему, а нормальному. Пока не поздно.

— Я сказал, забудь.

Илья встал, вылил нетронутый чай в раковину и вышел. Марат не окликнул его.

* * *

Комната видеонаблюдения была на верхнем ярусе, у выхода в город, за дверью с кодовым замком. Код знали все, кто проработал здесь больше года: на третьей кнопке краска стёрлась до металла. За пультом сидела Людмила, оператор, женщина лет сорока пяти с высокой, залитой лаком причёской, которая с одинаковой скукой смотрела на двенадцать мониторов перед собой и на любого, кто входил без спроса.

— Чего тебе?

— Мне запись нужна. Платформа, первый путь. Шесть сорок, плюс-минус минута.

— Зачем?

— Пассажир, — соврал Илья. — Показалось, что-то оставил в вагоне. Хочу проверить.

Людмила посмотрела на него и прикинула, стоит ли ради него шевелиться. Потом вздохнула, пощёлкала мышкой, и на крайнем мониторе справа поползла назад серая цифровая картинка: люди, пятясь, заходили обратно в двери, поезд задом выползал из тоннеля.

— Вот. Шесть сорок одна. Смотри сам, мне некогда.

Она отвернулась к своим мониторам, а Илья наклонился к экрану.

Камера висела под сводом в конце платформы и смотре-

ла вдоль состава как раз с нужного угла. Изображение было зернистое, с полосами, но окна вагонов читались. Поезд тронулся. Первый вагон ушёл в тоннель, второй, третий. Илья увидел девушку в бежевом пальто — светлое пятно у двери, наклонённая голова. Увидел, как окна четвёртого вагона темнеют и в них проступает бледная рябь отражений.

Отражение девушки было наклонено над книгой. Так и ушло в тоннель — наклонённым, покорным, одинаковым с оригиналом.

Он отмотал назад и посмотрел ещё раз. Потом ещё. На третьем разе включил замедленную прокрутку и смотрел кадр за кадром, как вагон вползает в черноту. Голова отражения не поднималась ни на кадр. Камера видела ровно то, что должна была: уставшую девушку с книгой и её уставшее отражение в тёмном стекле.

— Нашёл своё? — не оборачиваясь, спросила Людмила.

— Нет. Показалось.

Он вышел и остановился в коридоре, привалившись спиной к стене, выкрашенной казённой зелёной краской. Пальцы, которыми он упирался в стену, мелко дрожали.

Облегчение пришло первым, и было оно таким сильным, что подкосились колени. Камера не врёт. Камере всё равно, сколько он выпил вчера. Камера сказала: ничего не было. Значит, всё, что он видел, было только у него в голове, а голову можно лечить, ей можно дать отдохнуть, в ней можно навести порядок. Это болезнь. У болезни есть название,

врач, таблетки.

А следом, медленно, поднимаясь откуда-то из живота, пришло другое. Он видел это лицо. Видел гладкий бледный воск, шов вместо рта, края шва, ползущие вверх. Видел ясно, трезвым, ну почти трезвым, при полном свете. И если это была болезнь, то рисовала она слишком подробно и слишком спокойно. И рисовала одно и то же лицо, будто знала его наизусть.

* * *

К десяти руки тряслись уже так, что он прятал их в карманы кителя каждый раз, когда никто не подходил к рамке. Два утренних глотка давно выветрились. Голова была ясной — пугающе, режуще ясной, как бывает зимой на морозе, когда каждый звук слышен за квартал, — и вместе с ясностью пришла потливость, от которой рубашка липла к спине, и сухость во рту, которую не брала никакая вода. Фляжка лежала во внутреннем кармане, у самого сердца, и он чувствовал её вес каждую минуту. Один глоток — и руки успокоятся и можно будет вытащить их из карманов.

Фляжку он не достал: боялся. Если отражения начались, пока он пил, то чем станет выпивка теперь? Лекарством или топливом? Он не знал ответа, и незнание держало руку крепче любой решимости.

В курилке за служебным выходом, куда он вышел в одиннадцать глотнуть холодного воздуха, стояли трое: двое ребят из ночной смены, которых после дежурства задержали из-за

какой-то проверки, и Марат. Илья не курил уже лет пять, но выходил сюда постоять, потому что здесь было небо, пусть и кусочком.

Он слышал их раньше, чем они его увидели. Разговор шёл вполголоса, но в узком проходе между глухими стенами павильонов каждое слово отскакивало.

— ...говорю вам, спрашивал. Прямо так и сказал: а отражения, говорит, у тебя в поездах совпадают?

— Белочка, — коротко и весело сказал один из ночных. — Классика. Сначала отражения, потом черти на плече.

Они засмеялись. Марат стоял с сигаретой, смотрел в асфальт и качал головой — не то осуждая их, не то соглашаясь, не разобрать.

— Да ладно вам, — сказал Марат. — Человеку плохо.

— Плохо — пусть лечится. А не на посту с белочкой стоит.

Илья развернулся и ушёл обратно, прежде чем кто-нибудь из них поднял голову. Дверь за ним закрылась мягко, на доводчике.

В коридоре он остановился у огнетушителя и простоял там, наверное, минуту, упершись лбом в холодную крашеную стену. Это было что-то тяжелее и тише обиды: ночные сказали вслух то самое, что он сам говорил себе со вчерашнего утра. Белочка. Черти на плече. И если трое чужих людей, не видевших ничего, пришли к тому же выводу, что и он, видевший всё, то, наверное, так оно и было. Наверное,

это и называется поставить диагноз: когда все вокруг, включая тебя самого, говорят одно и то же слово.

* * *

Сомов вызвал его сам, в половине двенадцатого, по внутреннему телефону. Голос в трубке был короткий и сухой:

— Зайди.

В кабинете начальника участка пахло табаком сильнее обычного, будто Сомов курил прямо тут, при закрытой двери, нарушая все инструкции, которые сам же и зачитывал на разборах. Он сидел за столом, не предложив Илье сесть, и крутил в пальцах шариковую ручку.

— Люда звонила, — сказал он. — Ты записи смотрел.

— Пассажир мог забыть вещь...

— Не ври мне. — Сомов положил ручку на стол, ровно, параллельно краю. — Люда говорит, ты одну минуту три раза прокрутил. Покадрово. И ничего не спрашивал про вещи, а смотрел на окна вагона. Марат говорит, ты у него спрашивал про отражения. Ночная смена говорит, у тебя с утра лоток из рук вывалился. Трое за день, Корнеев. Трое. И каждый приходит ко мне и говорит одно и то же разными словами.

Илья молчал. Руки он держал за спиной, сцепив пальцы так, что хрустели суставы.

— Я тебе вчера сказал, не чуди. — Сомов тяжело посмотрел на него снизу вверх. — Сегодня ты начудил на три докладных. Я их не пишу. Пока. Но если завтра ко мне придут с четвёртой, я её напишу сам, и пойдёшь ты на комиссию не

плановую, а внеочередную, и не с моей подписью «замечаний не имеется», а с моей подписью «прошу проверить на соответствие занимаемой должности». Ты понимаешь, что после этого бывает?

— Понимаю.

— После этого ты стоишь у магазина с табличкой «охрана» за пятнадцать тысяч в месяц. Если повезёт. — Сомов вздохнул. — Иди. Досиживай смену. И сделай так, чтобы до конца месяца я про тебя не слышал ни одного слова. Ни от кого.

* * *

Досиживать оставалось меньше часа. Илья вернулся к рамке и стоял возле неё, не садясь, потому что сидя руки было некуда деть, а стоя можно было держать их за спиной, по уставу, как часовые. Пассажиров в этот час было мало. Он смотрел поверх голов на мозаичное панно с колосьями и рабочими в касках на дальней стене вестибюля, в которое упирался взгляд, если не опускать его ниже, туда, где стекло.

Молодой сержант подошёл к нему минут через двадцать. Подошёл по дуге, как подходят к собаке без поводка, и остановился в двух шагах. Вблизи он оказался ещё моложе: светлый ёжик под фуражкой, тонкая шея торчит из воротника, на подбородке свежий порез от бритвы, заклеенный крошечным клочком туалетной бумаги, про который он, видно, забыл.

— Сержант Кравцов, — представился он, коснувшись ко-

зырька, хотя Илья был не из тех, кому полицейские представляются. — У вас всё в порядке?

— В порядке.

— С утра у вас лоток упал. Я видел. Вы потом минуту стояли и не двигались.

— Уронил. Бывает.

Кравцов коротко, почти незаметно втянул носом воздух, но Илья заметил. Заметил и то, как сержант задержал взгляд на его руках, сцепленных за спиной, а потом перевёл глаза на лицо, будто сверяя одно с другим.

— От вас пахнет, — сказал Кравцов старательно, как фразу, выученную на инструктаже. — Вы на посту досмотра. Если вы в состоянии опьянения, я обязан сообщить.

— Я не в состоянии. Можешь хоть сейчас в трубку дуть заставить.

Сержант помолчал. В инструкции следующего пункта не было, а сам он ещё не умел придумывать пункты на ходу.

— Я за вами наблюдаю, — сказал он наконец и ушёл обратно к будке, держа спину так прямо, будто ему в китель вшили линейку.

Илья смотрел ему в спину и думал, что когда-то сам был таким же, с порезом на подбородке и инструкцией в голове. Думал, что мир держится на порядке, а порядок — на людях в форме, которые стоят, где им положено, и смотрят, куда положено.

* * *

После смены Илья не пошёл домой пешком. У выхода в переулок он постоял, глядя на ларёк с шаурмой, на его чёрную тонированную витрину, у которой снова толпились люди, и понял, что не может ещё раз пройти мимо неё, глядя себе под ноги. Не сегодня.

Была и другая причина, попроще. В аптеке у дома его знали, и спросить там про тремор он не мог. Нужна была большая, у пересадочной, в двух перегонах отсюда, где его никто не знал в лицо. Форму он оставил в раздевалке и переоделся в старую серую куртку, в которой его и свои-то узнавали не сразу.

Он спустился вниз мимо поста Марата — Марат посмотрел на него и отвёл глаза, — и вышел на платформу. Поезд подошёл через две минуты. Илья сел на крайнее место у торцевой стенки и развернулся к ней вполоборота, так, чтобы перед глазами была реклама частной стоматологии на торце.

Двери закрылись. Поезд тронулся.

Он знал, что делать. Смотреть на рекламу: на улыбающуюся женщину с идеальными зубами, на номер телефона, на слова «рассрочка без переплат». На свои колени, на пол, на ботинки соседа. Куда угодно, только не в чёрные окна.

Удивительно, как много в вагоне было стекла. Окна — само собой, но и стеклянные перегородки у дверей, и поцарапанное оргстекло над схемой линий, и полированный металл поручней, в каждом из которых, если приглядеться, плыла вытянутая, изогнутая копия вагона. Даже погасший телефон

пассажира напротив лежал у того на колене и показывал потолок с рядом ламп. Весь вагон был одним большим кривым зеркалом, и Илья сидел в самой его середине.

Вагон нырнул в тоннель, и свет стал плотнее и желтее, как всегда, когда за окнами наступает чернота. Илья смотрел на рекламу. Женщина улыбалась. Где-то справа, на самом краю зрения, в окне напротив соседнего ряда сидений проступили отражения — Илья чувствовал их, как чужой взгляд в затылок.

Он не повернул голову.

Рядом с ним сидел мужчина с портфелем на коленях. Мужчина задремал, голова его медленно клонилась к плечу Ильи, и от него пахло одеколоном и мокрой шерстью. Через проход стояли двое подростков и смеялись над чем-то в телефоне. Дальше, у двери, молодая мать держала на руках ребёнка в синем комбинезоне. Ребёнок не спал. Он смотрел в тёмное окно поверх материнского плеча внимательно, не мигая.

Илья смотрел на ребёнка. Это было можно. Ребёнок — не окно.

Ребёнок долго смотрел в окно, затем наморщил лобик. Губы его задрожали, он отвернулся от стекла, уткнулся лицом матери в шею и заплакал — сначала тихо, а потом в голос, на весь вагон, от настоящего испуга.

— Ну что ты, что ты, — забормотала мать, покачивая его. — Что такое? Что увидел? Там же ничего нет, там темно про-

сто.

Ребёнок плакал и не поворачивался к окну.

Илья сидел неподвижно и не поворачивал головы к стеклу. Он смотрел на мать с ребёнком, на её растерянное лицо, на подростков, которые перестали смеяться, на соседа, который от крика проснулся и завертел головой. Все они смотрели на ребёнка. Никто из них не смотрел в окно.

Глава третья. Задержание

Аптека у пересадочной оказалась такой, какой он её и представлял: длинная, белая, залитая ровным холодным светом, с десятком касс, из которых работали две, и с рядами стеллажей, уставленных коробочками так плотно, что от пестроты рябило в глазах. Пахло валерьянкой и хлоркой. У входа стоял автомат с бахилами, которые здесь никому не были нужны, и весы, на которых никто никогда не взвешивался.

Илья долго бродил между стеллажами, делая вид, что выбирает, хотя не знал ни одного названия. Витамины, пластыри, капли от насморка, шампунь от перхоти. Наконец он встал в очередь к кассе, за которой сидела девушка лет двадцати пяти, с аккуратным хвостиком и бейджем «Фармацевт-консультант Ксения», и, дойдя до прилавка, долго не мог начать.

— Мне бы что-нибудь, — сказал он. — От дрожи. В руках.

Ксения посмотрела на его руки, которые он держал на прилавке, и Илья понял, что зря их туда положил, но убирать было поздно.

— От тремора есть препараты, — сказала она заученно, — но они рецептурные. Без рецепта не могу. Вам к неврологу надо. Или... — она на долю секунды запнулась, выбирая слово, — к другому специалисту.

— А без рецепта?

— Без рецепта глицин. Магний. Витамины группы бэ. — Она выложила на прилавок три коробочки, одну за другой, как карты. — Но это так, поддержка. Если серьёзно, то это не лечит.

Он купил все три. Расплатился картой, потому что мелочь пальцы всё равно не удержали бы, и Ксения, пробивая чек, сказала, не поднимая глаз, тише, чем до этого:

— Если вы бросаете резко, это опасно бывает. Лучше под наблюдением.

— Я не бросаю, — сказал он.

— Хорошо, — согласилась она и протянула пакет.

* * *

Обратно он пошёл пешком. Под землёй от пересадочной до дома было два перегона, по поверхности — почти час ходу, через две широкие улицы, мост над железнодорожными путями и промзону, где за бетонными заборами лаяли собаки. Илья шёл, засунув руки в карманы куртки, считал шаги, сбивался, начинал снова. При мысли о том, чтобы снова спуститься вниз и сесть в вагон с чёрными окнами, в животе начинало ворочаться что-то холодное и скользкое, и ноги сами сворачивали в сторону.

На мосту он остановился передохнуть. Внизу, в широкой выемке, лежали рельсы, и по ним полз длинный товарный состав — цистерны, платформы с лесом, снова цистерны. Над выемкой висело бледное осеннее солнце, и всё было видно

чётко и далеко: крыши гаражей, трубы котельной, вороньё на проводах. Никаких тоннелей, никакой темноты. Илья смотрел на поезд и думал, что наверху, при солнце, всё ещё можно жить. Что если бы больше никогда не спускаться...

Он оборвал мысль. Другой работы, другого ремесла у него не было, другой жизни он не помнил. Уйти из метро означало уйти в никуда, в табличку «охрана» у магазина, в пятнадцать тысяч в месяц, в квартиру с телевизором, накрытым полотенцем.

Дома он положил под язык две таблетки глицина, как советовала инструкция, и они растаяли, оставив сладковатый меловой вкус. Руки от них не перестали трястись. Он и не ждал, что перестанут.

* * *

Ночь была плохой.

Он лёг рано, в девять, потому что вставать в без десяти три, и долго лежал в темноте, слушая, как за стеной у соседей бубнит телевизор. Когда телевизор выключился, стало слышно всё остальное: гудение холодильника на кухне, капаящий кран, лифт, который ходил вверх и вниз с глухим стуком на каждом этаже. Каждый звук отдавался в голове отдельно, с эхом, как в пустом вестибюле. Ночная квартира оказалась громкой.

К одиннадцати его начало знобить. Он накрылся вторым одеялом, а через полчаса сбросил оба, потому что простыня под ним снова стала мокрой, а зубы стучали. Во рту пере-

сохло. Он вставал пить воду из-под крана, ложился, вставал снова. В темноте кухни он старательно не смотрел на окно, в котором отражалась полоска света из коридора, на блестящую эмалированную дверцу плиты и на выпуклый хромированный чайник, где, он знал, сейчас плавала искажённая копия кухни.

В половине второго он сел на край дивана, упершись локтями в колени, и понял, что не выдержит самого себя. Тело кричало без слов, но настойчиво, каждой клеткой, как кричит голодный младенец, которому всё равно, что ты ему объясняешь.

Он пошёл на кухню, открыл шкафчик, достал бутылку. Налил на палец. Выпил. Постоял. Налил ещё на палец и выпил снова.

Тепло пришло сразу, мягкое и знакомое, как старый свитер. Сердце замедлилось, руки перестали дёргаться. Через десять минут он уже лежал на диване и чувствовал, как тяжелеют веки.

Засыпая, он думал, что это тактика. Нельзя слезать сразу, девушка в аптеке сама так сказала. Надо постепенно. Два пальца ночью — это меньше, чем вчера. Это прогресс. Он повторял это себе, пока не заснул, и снов не было, и это было лучшее, что случилось с ним за последние двое суток.

* * *

Будильник поднял его в без десяти три, и, открыв глаза, Илья почувствовал ясность. Похмелья не было: два пальца

за ночь — не доза. Голова работала чисто и быстро, как давно уже не работала по утрам, и эта чистота была неприятной, как слишком яркий свет в операционной. Каждая мысль приходила отдельно, с острыми краями. И первой из них была мысль о том, что сегодня он снова будет стоять у рамки и смотреть на поезда.

Он принял глицин, выпил две кружки кофе. Фляжку наполнил, но из неё не глотнул, только положил во внутренний карман — как пистолет, который носят не для того, чтобы стрелять.

На станцию он пришёл в половине четвёртого, как всегда. Тётя Валя, уже бывшая на месте, посмотрела на него через весь вестибюль и ничего не сказала. Просто подъехала, выложила на столик салфетку — на этот раз с двумя пряниками — и уехала обратно. Илья съел оба. Впервые за много лет он почувствовал, что голоден.

Сержант Кравцов заступил в начале шестого вместе со своим грузным напарником. Минут десять постоял у будки, поглядывая через вестибюль на пост номер три, а потом подошёл, неся в руке что-то маленькое и серое, похожее на пульт от телевизора.

— Доброе утро, — сказал он. — Вы вчера сами предлагали. Дуть.

Это был алкотестер, старая модель с облупленным корпусом и мундштуком в прозрачном пакетике. Илья посмотрел на него, потом на сержанта. Кравцов стоял прямо, сосредото-

точно, как на экзамене, и было видно, что эту сцену он продумал заранее, может быть, ещё вчера вечером, и что ему неловко, но он решил и доведёт.

— Имеешь право? — спросил Илья.

— Не очень, — честно ответил Кравцов. — Вы не мой. Я могу только попросить.

Илья помолчал, затем надел мундштук на прибор и дунул. Прибор пискнул, подумал и показал на маленьком зелёном экранчике цифры, которые Кравцов прочёл вслух, повернув прибор к себе:

— Ноль ноль семь. — Он поднял глаза. — Это почти ничего. Это... ну, это как кефир.

— Я знаю, что это.

Кравцов смотрел на него растеряннo. Он, видимо, готовился к другому: прибор покажет много, и тогда будет ясно, что делать, будет протокол, будет порядок. А прибор показал почти ничего, и порядок не складывался.

— А пахнет, — сказал сержант.

— Пахнет у меня от кителя. И от кожи. Столько лет, парень, оно уже не выветривается.

Кравцов медленно кивнул, как человек, которому дали задачу без решения. Убрал алкотестер в карман. Постоял ещё секунду, будто хотел что-то добавить — извиниться или, наоборот, пригрозить, — так и не решил что и ушёл к будке. Парник что-то сказал ему, когда тот вернулся, и Илья, хотя и не слышал слов, по тону разобрал насмешку. Кравцов

ответил коротко и отвернулся.

Через минуту напарник позвал его, громко, через полвестибюля:

— Саня! Чай будешь?

Кравцов, не оборачиваясь, мотнул головой.

Саня, значит. Илья повторил про себя это имя и почему-то подумал, что оно подходит мальчишке больше, чем фамилия с лычками. Кравцов — это для протокола, для рапорта. А Саня — это тот, кто старательно брился перед сменой и опять порезался. Кто не пошёл пить чай с напарником, потому что обиделся на насмешку и не хотел этого показать. Илья смотрел на тонкую прямую спину у будки и чувствовал к сержанту что-то похожее одновременно на раздражение и на жалость, как к собственной старой фотографии.

* * *

Утро шло так, как Илья и боялся: медленно и с ясной головой.

Каждый звук был громким, каждый свет резким, каждое движение на краю зрения заставляло дёргаться. Он слышал, как в тоннеле, за сотни метров, начинает гудеть подходящий состав, раньше, чем его слышал кто-либо ещё. Слышал, как на платформе падает монета, как шуршит чей-то пакет. И поверх всего, фоном, слышал собственное сердце, которое никак не могло найти ровный ритм.

Он заставлял себя не смотреть на поезда. Смотрел на рамку, на пассажиров, на их сумки. Когда состав трогался, опуска-

кал глаза в стол. Это было трудно, но пока получалось.

До восьми не случилось ничего. К восьми начался час пик.

Он всегда начинался одинаково: сначала поток густел, потом переставал быть потоком и становился массой. Люди шли плечом к плечу, рамка звенела почти непрерывно, и Илья перестал даже пытаться досматривать каждого: смотрел только на лица, на руки, выхватывал из массы то, что выбивалось. Платформа за турникетами была забита. Поезда приходили каждые две минуты, и каждый уходил набитым, а на место уехавших тут же набивались новые.

Именно тогда, в самой давке, Илья и сделал ошибку. Поднял голову, чтобы посмотреть, не перегружена ли платформа, — это была его работа, — и увидел уходящий состав.

Вагоны были набиты так, что лица, плечи, руки на поручнях сплющило о стекло дверей. И когда первый вагон нырнул в тоннель и окна разом стали чёрными, Илья увидел много отражений.

В первом вагоне — трое. Во втором — ещё двое. В третьем он сбился со счёта. Среди десятков бледных отражений, прижатых к черноте, то тут, то там поворачивались к нему гладкие восковые овалы. Уже десятки, а вчера было одно. Они были рассыпаны по составу, как изюм в булке, — через одного, через двух, через пятерых, — и все до единого поворачивались в одну сторону. К нему. К посту номер три. И все улыбались своими швами, и края швов ползли вверх одновременно, как по команде.

Потом состав ушёл в тоннель, и всё кончилось.

А следующий уже подходил. Илья чувствовал его гул под ногами. Через минуту он остановится, откроет двери, выпустит людей, впустит других. И среди этих других будут те. Будут стоять рядом с обычными людьми, держаться за те же поручни, дышать тем же воздухом. Сколько их было на платформе прямо сейчас? Сколько прошло через его рамку за это утро? Рамка звенела на ключи и пряжки. На это она не звенела.

Воздуха вдруг стало мало.

Он попробовал вдохнуть и не смог. Грудь сжало обручем, горло сузилось до игольного ушка, и сквозь него проходила только тонкая свистящая струйка. Сердце трепетало мелко и неровно. Ладони мгновенно взмокли. Пол под ногами качнулся, Илья схватился за край столика, и столик поехал, и лоток полетел на пол, и никто этого не услышал в общем шуме.

Надо было дышать на четыре счёта. Он помнил это. Он не мог досчитать даже до двух.

Состав подошёл. Двери открылись. Толпа хлынула из вагонов к эскалаторам, новая толпа с платформы начала втискиваться внутрь, и Илья, стоя у своей рамки, увидел в толпе мужчину в тёмном пальто, который протискивался к двери вагона, и понял, почему-то точно, животом, что это один из них.

Он не помнил потом, как оказался за турникетом. Пом-

нил только, что расталкивает людей, что кто-то возмущённо кричит ему в спину, что под ногами хрустит чья-то упавшая бумажка. Мужчина в пальто уже стоял в дверях вагона, спиной к платформе. Илья схватил его за плечо и дёрнул на себя.

— Стой! Стой, покажи лицо! Покажи!

Мужчина обернулся. Лицо у него было обычное, человеческое: немолодое, небритое, с мешками под глазами и красными прожилками на носу. Глаза расширились от испуга, рот открылся.

— Вы что... вы чего? Отпустите!

— Покажи! — Илья тряс его за плечо, не понимая, что делает и чего хочет, и смотрел, смотрел в это лицо, пытаясь увидеть под ним другое, гладкое, восковое. — Я видел! Я видел вас!

— Да вы пьяный! Отпустите, говорю! Помогите кто-нибудь!

Вокруг образовалась пустота. Люди отшатнулись от него, как от бомжа или от драки. Кто-то поднял телефон и начал снимать. Кто-то сказал: «Совсем уже». Женщина резко оттащила ребёнка в сторону.

Двери вагона зашипели, закрываясь, и мужчина рванулся, вывернулся у Ильи из рук и влетел в вагон. Двери сомкнулись. Мужчина стоял за стеклом, прижавшись к противоположной стенке, смотрел на Илью с самым обычным человеческим ужасом и тёр плечо.

Поезд тронулся. Илья стоял на краю платформы и смотрел

рел ему вслед. В последний момент, когда окно нырнуло в тоннель и почернело, он успел увидеть отражение мужчины в пальто. Тот стоял в стекле таким же, как в жизни: испуганный, взъерошенный, трущий плечо. С обычным лицом.

Значит, ошибся.

В ту же секунду кто-то сзади крепко взял его за локоть.

* * *

— Гражданин. Пройдёмте.

Голос был молодой, и Илья узнал его раньше, чем обернулся. Кравцов держал его за локоть правой рукой, а левую положил на пояс, возле рации. Лицо у сержанта было бледным и очень серьёзным. На подбородке белел новый клочок бумаги на свежем порезе.

— Отпусти, — сказал Илья. Голос не слушался, выходил сиплым шёпотом. — Я на посту. Мне надо на пост.

— Вам надо пройти со мной. Вы на пассажира напали. Вон, все видели.

Все видели. Вокруг стояли люди, и несколько телефонов по-прежнему смотрели на них чёрными глазками камер. Илья представил, как это будет выглядеть в интернете через час. Как Сомов будет смотреть это видео у себя в кабинете. Представил медкомиссию, внеочередную, с подписью «прошу проверить на соответствие».

— Никуда я не пойду, — сказал он и дёрнул локоть.

Он был выше Кравцова и тяжелее килограммов на десять, но дёрнул неудачно: сержант держал крепко, по-учебному,

с упором, и от рывка их обоих развернуло и повело вбок. Кравцов перехватил его второй рукой за запястье, попытался завести руку за спину, как учили, но Илья, почти не соображая, что делает, упёрся, и они оба качнулись и чуть не упали.

— Не сопротивляйтесь! — голос у Кравцова сорвался на высокой, почти мальчишеской ноте. — Не сопротивляйтесь, я сказал!

— Отпусти, дурак, не надо...

Где-то в толпе засмеялись. Кто-то сказал: «Мочи его, сержант». Телефоны снимали. С другого конца платформы, расталкивая людей, уже шёл грузный напарник, красный и злой.

Кравцов огляделся. Илья видел, как метнулись его глаза: на толпу, на телефоны, на напарника, на край платформы в двух шагах, на подходящий из тоннеля поезд. Сержант был молод, но не глуп. Он понимал, что здесь, на краю, в давке, двое сцепившихся мужиков — это чья-то смерть под колёсами, если не повезёт. Что это нужно убрать отсюда. Куда угодно, прочь от края, прочь от людей и телефонов.

За его спиной, в стене платформы, была служебная дверь — железная, покрашенная в цвет стены, с табличкой «Посторонним вход воспрещён» и кодовым замком, который давно не работал; чтобы дверь не захлопывалась, язычок подпёрли куском картона.

Кравцов рванул Илью на себя и назад, к двери. Илья потерял равновесие, и они, сцепившись, врезались в дверь спи-

ной сержанта. Дверь подалась. Картонка выпала. Они ввалились внутрь, в полумрак, и тяжёлая дверь на мощной пружине лязгнула за ними и захлопнулась.

Шум платформы отрезало разом.

* * *

Здесь было тихо и темно. Под потолком тянулся ряд ламп в решётчатых колпаках, но горела одна, посередине, и свет от неё доходил до двери жидким и серым, как вода после стирки. Коридор уходил вперёд метров на сорок, узкий, с бетонным полом и толстыми кабелями, пучками ползущими по стенам на железных кронштейнах. Пахло пылью, машинным маслом и чем-то затхлым, подвальным. Где-то капала вода.

Они упали на бетон вместе. Кравцов оказался сверху, прижал Илью коленом к полу, держал его руку, выкрученную за спину, и тяжело, со свистом дышал ему в затылок.

— Лежать, — сказал он. — Лежать, я сказал.

Илья лежал. Сил сопротивляться больше не было. Щека прижималась к холодному шершавому бетону, в нос лезла пыль, болело выкрученное плечо. Страшнее всего было то, что мужчина в пальто оказался человеком. Что Илья напал на обычного испуганного человека с красными прожилками на носу, который сейчас едет в вагоне, трёт плечо и рассказывает соседу про психа в метро.

Значит, все они правы. Марат. Ночные. Сомов. Все.

— Я не пьяный, — сказал он в бетон. — Ты же сам проверил. Утром.

Кравцов не ответил. Он держал крепко, но Илья чувствовал через захват, как у сержанта дрожат руки. У самого Ильи они дрожали от отмены, у Кравцова — от того, что это было, наверное, его первое настоящее задержание. От того, что он, с порезом на подбородке и новенькими лычками, только что уронил на бетон человека намного старше себя и не знал, правильно ли сделал.

— Лежите, — повторил Кравцов тише, уже почти просьбой. — Сейчас Палыч подойдёт. Разберёмся.

Но Палыч не подходил. Дверь за их спинами молчала: картонка выпала, язычок защёлкнулся, а кодовый замок не работал уже который год. Снаружи её было не открыть. Изнутри тоже: ручку с этой стороны кто-то давно свинтил, и из двери торчал голый квадратный штырь. Только где-то далеко за стеной, глухо, как из-под воды, прогремел отходящий поезд.

Кравцов нашарил на поясе рацию, нажал кнопку.

— Палыч. Палыч, приём. Я в служебке, за железной дверью на платформе. Задержанный со мной. Приём.

Рация зашипела. Из неё выполз рваный голос, будто пробивающийся сквозь толщу бетона: «...не слышу... Саня... где ты... повтори...» И снова шипение. Кравцов нажимал кнопку ещё и ещё, повторял одно и то же, и рация отвечала ему только треском.

— Толстые стены, — сказал Илья. — Тут рация всегда так. Не берёт.

Кравцов помолчал. Потом, не отпуская его руки, чуть ослабил колено.

— Встать можете?

— Могу.

— Медленно.

Илья поднялся на колени, потом на ноги. Кравцов поднялся вместе с ним, всё так же держа его за запястье, и они стояли в полумраке, тяжело дыша, оба пыльные и взмокшие, и смотрели друг на друга. У Кравцова был ободран локоть, и на рукаве новенькой формы расплывалось тёмное пятно. У Ильи горела щека, и по ней ползло что-то тёплое.

— У вас кровь, — сказал сержант.

— У тебя тоже.

Кравцов посмотрел на свой рукав с таким удивлением, будто только сейчас заметил. Потом снова на Илью.

— Зачем вы на него кинулись? — спросил он просто, как человек человека, потому что действительно не понимал. — Утром вы трезвый были. Я же видел. Трезвый человек так не делает.

Илья открыл рот и не ответил. Что тут можно было сказать? Что отражения в поезде поворачивают к нему головы без лиц? Что у них вместо ртов швы? Он представил, как говорит это вслух, здесь, в пыльном коридоре, мальчишке в форме, у которого дрожат руки, и понял, что это будет конец. Работе, видимо, конец и так. Это будет конец вообще. Последнее, что у него осталось, — право знать, что он сума-

сшедший, но не говорить этого вслух.

— Показалось, — сказал он.

Кравцов долго смотрел на него, не отпуская руки. Потом отвёл глаза вглубь коридора, туда, где горела одинокая лампа.

— Идёмте, — сказал он. — Там дальше выход есть, к дежурной. Через него выйдем, раз дверь захлопнулась.

Они пошли медленно, рядом, сержант чуть позади, всё так же держа его за запястье. Шаги отдавались от бетонных стен гулко и неровно. Капала вода. Толстые чёрные кабели в пыльной оплётке тянулись вперёд, и где-то в них, наверное, текло электричество, и Илье казалось, что он слышит его еле уловимое гудение.

На середине коридора, под единственной горящей лампой, на стене висел пожарный щит. Старый, металлический, выкрашенный красным, с застеклённой дверцей. Внутри угадывались свёрнутый брезентовый рукав и огнетушитель. Стекло на дверце было мутным от многолетней пыли, в разводах, с тёмным пятном в углу, где налипла грязь. Лампа светила прямо сверху. За стеклом, внутри щита, было темно.

Илья увидел этот щит издали и почувствовал, как сжимается живот. Он знал, что сейчас пройдёт мимо, в полуметре. Знал, что свет сверху, а за стеклом темно. Знал, что будет в этом стекле.

Он опустил глаза в пол.

Кравцов шёл чуть позади и смотрел прямо перед собой,

как смотрят люди, которым нечего бояться в пыльном служебном коридоре. Мутное стекло щита приближалось слева. Под лампой было светлее, и Илья, не поднимая головы, видел, как их тени, две, сгорбленные, одна чуть впереди другой, укорачиваются и уползают им под ноги.

А потом из дальнего конца коридора, оттуда, где должен был быть выход к дежурной, послышались шаги, мерные и неспешные. Кто-то шёл им навстречу.

Глава четвёртая. Пыльное стекло

Шаги приближались.

Илья смотрел в пол и слушал. Шаги были шаркающие, с едва заметной хромотой: одна нога ступала чуть твёрже другой, и к ним примешивалось мягкое шлёпанье, как бывает, когда человек идёт в домашних тапочках без задников. Звук был знакомый. Илья слышал его сотни раз: каждое утро, перед тем как открыть станцию, Нина Аркадьевна выходила из дежурки и через весь пустой вестибюль шла к эскалаторам, шаркая тапочками по граниту мимо его поста.

— Это что тут у нас такое? — спросил из полумрака женский голос, низкий, прокуренный. — Кто опять картонку выбил?

Нина Аркадьевна, дежурная по станции, та самая, с кроссвордом. Невысокая, плотная, лет шестидесяти, в форменном синем жакете поверх вязаной жилетки, в очках на цепочке и в войлочных тапочках, которые носила на смене вопреки всем инструкциям, потому что, как она объясняла, ноги у неё не казённые. Она работала на станции дольше всех, дольше тёти Вали и Сомова, и Илья за все эти годы не сказал ей и двух десятков слов сверх «здрасьте» и «до свидания». Выйдя из полумрака в круг жидкого света, она остановилась в нескольких шагах и посмотрела на них.

— Корнеев? — Она прищурилась. — А это кто с тобой?

Полиция? Чего вы тут бродите-то, как пьяные?

— Задержанный, — сказал Кравцов. Голос у него был ещё неровный. — Инцидент на платформе. Дверь заклинило, выходим через вас.

— Инцидент. — Нина Аркадьевна перевела взгляд на Илью, на его щёку, на пыльный китель, и губы её поджались. — Допрыгался, значит. Я Геннадия сколько раз говорила. Ладно, пошли, выведу. Нечего тут в пыли стоять.

Она развернулась и пошла обратно. Кравцов двинулся за ней, потянув Илью за запястье.

Щит был прямо перед ними, слева, в двух шагах. Нина Аркадьевна прошла мимо него первой.

Илья не поднимал глаз. Смотрел на её тапочки, серые, стоптанные, с вытертым до блеска войлоком на пятках, — левая ступала чуть твёрже правой. Затем на свои ботинки, на бетон. Щит он чувствовал слева, как чувствуют открытую дверцу печки, — боком, кожей.

Пальцы Кравцова на его запястье сжались.

Сжались судорожно, до боли, совсем иначе, чем до этого, так, что Илья почувствовал, как ногти сержанта впиваются ему в кожу даже через манжет рубашки. Кравцов остановился так резко, что Илью по инерции развернуло к нему лицом.

Сержант смотрел в стекло пожарного щита.

Лицо у него было белым, блее лампы над головой, рот приоткрыт, и губы чуть шевелились, будто он хотел что-то сказать и не находил звука. Глаза не мигали. Илья видел в

них отражение лампы — две крошечные яркие точки — и больше ничего: всё остальное в этих глазах было занято тем, что они видели в мутном стекле.

Илья повернул голову.

Он успел поймать самый конец — секунду, даже меньше. Нина Аркадьевна уже прошла щит и шла дальше по коридору, спиной к ним, не оборачиваясь. А в пыльном стекле, у тёмного пятна в углу, ещё стояла она. Стояла и смотрела на них. Та же фигура, тот же синий жакет, те же очки на цепочке, свисающие на грудь. Только очки висели ни на чём — над воротником жакета не было лица. Было гладкое, восковое, с тонким швом поперёк, и шов был изогнут вверх, в ту самую улыбку, которую Илья видел в поездах.

Отражение моргнуло — хотя моргать ему было нечем, — и повернулось, и пошло, и совпало с уходящей Ниной Аркадьевной, и стало просто её отражением, мутным, удаляющимся в пыльном стекле.

— Ну чего встали? — не оборачиваясь, крикнула она из темноты. — Мне ещё журнал заполнять.

* * *

Кравцов не двигался.

Илья слышал его дыхание — частое, сквозь зубы, как у человека, который только что опустил руку в ледяную воду. Пальцы сержанта по-прежнему впивались в запястье, и Илья не пытался их разжать. Он смотрел на белое мальчишеское лицо, на клочок бумаги на подбородке и чувствовал что-то

вроде тоски. Другой человек падал в ту же яму, в которую он сам летел уже третьи сутки, а он не мог ни поймать его, ни предупредить.

— Ты видел, — тихо сказал Илья.

Кравцов дёрнулся и отпустил запястье. Посмотрел на свои пальцы, на Илью, на щит. В стекле теперь отражались только они двое, бледные, пыльные, с тёмными пятнами крови — у одного на щеке, у другого на рукаве. Два обычных лица. Два обычных отражения.

— Стекло грязное, — сказал Кравцов. Голос у него сел. — Грязное стекло. Разводы. И лампа сверху. Пятно там в углу. Искажение.

— Ты видел.

— Я ничего не видел. — Он резко отвернулся от щита, будто стекло могло его укусить. — Я ничего не видел. Идите. Вперёд идите, я сказал.

Он снова взял Илью за запястье, но уже иначе: цеплялся, как за поручень в качающемся вагоне. Кравцов шёл быстро, почти тащил, и смотрел прямо перед собой, в спину Нине Аркадьевне, маячившей у поворота тёмным силуэтом на фоне открытой двери, откуда падал жёлтый свет.

Илья шёл и думал, что каждое утро кивал ей через стекло дежурки. Что когда-то под Новый год она оставляла ему самый большой мандарин, а он брал, говорил спасибо и ни разу не спросил, почему ему. Как давно это с ней? С прошлого года? С прошлой недели? Была ли там вообще когда-нибудь

Нина Аркадьевна, или только синий жакет, очки на цепочке и войлочные тапочки, а внутри — это?

Дверь в конце коридора вела в её дежурку: маленькую комнату с пультом, телефонами, журналами на полке, электрическим чайником и тем самым кроссвордом, раскрытым на столе, с карандашом поперёк. Всё было обычным, человеческим, до мелочей. На подоконнике стояла герань в треснутом горшке. На стене висел календарь с видом на какой-то собор. Пахло растворимым кофе и валокордином.

Нина Аркадьевна села за стол, надела очки, сняла трубку одного из телефонов, сказала в неё что-то про «служебный на втором, картонку выбили, пусть слесарь глянет», положила трубку и махнула рукой на вторую дверь.

— Туда. Прямо в вестибюль выйдете. И ты, Корнеев, иди к Геннадию сразу, не бегай. Хуже будет.

Кравцов прошёл мимо неё, не глядя. Илья прошёл следом и, уже у двери, не удержался и обернулся.

Нина Аркадьевна сидела за столом и вписывала карандашом слово в кроссворд. Очки сползли на кончик носа. Губы беззвучно шевелились, проговаривая буквы. Она выглядела так же, как каждое утро, — усталой немолодой женщиной, которой скучно и у которой болят ноги.

Окно за её спиной выходило в тёмную вентиляционную нишу, и стекло в нём было чёрным.

Илья отвернулся раньше, чем успел в него заглянуть.

* * *

В вестибюле их уже ждали. Палыч, грузный напарник Кравцова, стоял у двери дежурки, красный, взмокший, с рацией в руке, и при виде сержанта рванулся навстречу.

— Саня, ты где был? Я тебя обыскался! Дверь заклинило, рация не берёт, я уже думал... — Он осёкся, посмотрел на рукав Кравцова, на кровь. — Он тебя порезал?

— Нет. Упал. Об бетон.

— Об бетон он упал. — Палыч перевёл тяжёлый взгляд на Илью. — Ну что, герой, поехали в отдел. Пассажир, может, заявление писать будет. Видео уже, наверно, по всем пабликам гуляет. Щас оформим тебя по полной.

Он шагнул к Илье, протягивая руку, и Кравцов вдруг встал между ними.

— Не надо в отдел.

Палыч остановился.

— Чего?

— Пассажир уехал, — сказал Кравцов. Говорил он быстро, глядя куда-то мимо напарника, в стену. — Заявления нет. Телесных нет. Задержанный трезвый, я его утром проверял, ноль ноль семь. У него... приступ был. Паническая атака. Он сотрудник метрополитена, пусть с ним его руководство разбирается. Нам-то что.

Палыч смотрел на него так, будто Кравцов вдруг заговорил на иностранном языке.

— Ты ж сам его вчера пасти собирался. «Я за ним понаблюдаю». Ты ж сам с утра к нему с трубкой бегал.

— Ну и понаблюдал. Трезвый. Приступ. Всё.

— Сань, ты чего?

— Ничего. — Кравцов наконец посмотрел на напарника.

— Я рапорт напишу. Сам. Что был инцидент, сотрудник передан руководству. Всё, Палыч. Иди на пост.

Палыч постоял ещё секунду, пожал плечами, сплюнул в урну и ушёл к будке, тяжело, враскачку, растирая на ходу колено и бормоча что-то про молодых, которые сами не знают, чего хотят.

Илья понимал, чего это стоило сержанту. В отделе Илья стал бы тем, кем его все уже считали, — психом с видео, делом, закрытым и подшитым. А Кравцову сейчас, кажется, очень нужно было, чтобы Илья психом не был.

Кравцов стоял рядом, не глядя на него. Смотрел в вестибюль — на пассажиров, на турникеты, на рамку номер три, у которой пока никого не было и лоток по-прежнему валялся на граните.

— Идите к своему начальнику, — сказал он, не поворачивая головы. — Сами. Я не пойду.

* * *

Сомов уже знал. Перед ним на столе лежал телефон с видео на паузе: смазанная толпа, край платформы, двое мужчин, один в форме инспектора, второй в тёмном пальто. Качество было плохое, но лицо Ильи, перекошенное, с открытым ртом, было видно отчётливо. Внизу бежала строчка: «Метро совсем охренело. Инспектор бросается на пассажи-

ров». В цифру просмотров под видео Илья даже не стал вглядываться.

— Садись, — сказал Сомов.

Илья сел. Сомов не кричал.

— Докладную я написал, — сказал он. — Отправил. Внеочередная комиссия в пятницу. Это послезавтра. До пятницы ты отстранён. На смену не выходишь. Пропуск пока оставь, его отделу кадров сдашь, когда решат. — Он помолчал. — Если решат. Я тебя прикрывать больше не буду, Корнеев. Нечем. Там это видео уже в управлении смотрели. Мне звонили.

— Геннадий Петрович...

— Не надо. — Сомов поднял руку. — Я не хочу знать, что там у тебя было. Правда, не хочу. Пьяный ты был или трезвый, белка у тебя или что другое. Мне это не важно. Мне важно, что у меня инспектор на пассажира кинулся. Всё. Иди домой. Лечись, если есть от чего.

Илья встал. У двери он остановился, держась за ручку.

— Нина Аркадьевна, — сказал он. — Дежурная. Вы давно её знаете?

Сомов поднял на него глаза.

— Чего?

— Давно вы её знаете? Она всегда... такая?

Сомов смотрел на него секунды три, затем вздохнул и отвёл взгляд.

— Иди, Корнеев, — сказал он. — Иди.

* * *

Через вестибюль к раздевалке он шёл, чувствуя спиной взгляды. Марат у своего поста сделал вид, что изучает чей-то паспорт. Двое пассажиров у турникетов узнали его: переглянулись, и один толкнул другого локтем. Рамка номер три стояла без инспектора, и к ней уже шёл кто-то из резерва, молодой, незнакомый, на ходу застёгивая китель.

Тётя Валя перехватила его у эскалатора. Остановила ведёр поперёк дороги и посмотрела снизу вверх на его щёку.

— Господи. Это кто ж тебя так?

— Сам. Об пол.

— Об пол он. — Она достала из кармана халата чистый носовой платок, сложенный вчетверо, и сунула ему в руку. — Приложи. Домой идёшь?

— Отстранили, тёть Валь. До пятницы.

Она помолчала, покачала головой, но ничего не сказала ни про пьянку, ни про то, что допрыгался. Сказала только:

— А я сегодня в ночь остаюсь. Зинка из ночной заболела, подменяю. Так что если чего забыл в шкафчике — я тут до утра, звони на дежурку, вынесу.

Илья смотрел на её круглое лицо, на синий халат, на вязаную кофту. В ночь. Одна, в пустом вестибюле, когда поезда не ходят, а в дежурке у пульта сидит Нина Аркадьевна со своим кроссвордом.

— Тёть Валь, — сказал он. — Ты это... Ночью. Держись от дежурки подальше. Ладно?

Она подняла брови.

— Это ещё почему?

Он не знал, что ответить. Любое объяснение было бредом. Любое объяснение было видео с платформы, докладной, словом «белочка», сказанным в курилке.

— Просто, — сказал он. — Просто держись подальше.

Тётя Валя посмотрела на него долго и внимательно и хлопала его по руке.

— Иди домой, Илюша. Поспи. Приложи платок.

Она покатила ведро дальше, и в мутной воде качался свод вестибюля. Илья смотрел ей вслед и впервые за три дня хотел, чтобы оказалось, что он просто сошёл с ума.

* * *

В раздевалке было пусто. Илья снял китель, повесил его на плечики в шкафчик — аккуратно, форма есть форма, даже когда её, может быть, у тебя скоро отберут. Переоделся в серую куртку. Фляжку, так и не открытую за день, переложил из кителя во внутренний карман куртки. Долго стоял перед раковиной, отмывая щёку от засохшей крови и пыли. Ссадина оказалась неглубокой, но длинной, через всю скулу, и под холодной водой щипала так, что слезились глаза. В зеркало он не смотрел. Мыл на ощупь.

Когда он вышел через служебный выход в переулок, Кравцов стоял у стены в курилке и курил — неумело, часто затягиваясь и кашляя, держа сигарету самыми кончиками пальцев. Увидев Илью, он дёрнулся, будто хотел её бросить, но

не бросил.

— Не знал, что ты куришь, — сказал Илья.

— Я не курю. У Палыча стрельнул. — Кравцов посмотрел на сигарету, скривился и затушил её о стену. — Вас отстранили?

— До пятницы. Потом, скорее всего, совсем.

Кравцов кивнул и, помолчав, спросил, глядя в асфальт:

— Что вы видели? В поезде. Когда кинулись на него.

Илья ответил не сразу. Он смотрел на опущенные плечи сержанта, на новенькую форму с тёмным пятном на рукаве. Думал, что если скажет сейчас, то назад дороги не будет — ни для себя, ни для него. И что, может быть, её и так уже нет.

— Отражения, — сказал он. — В окнах, когда вагон уходит в тоннель. У некоторых людей нет лица. Не у всех. Гладко, как воск. И вместо рта — такой... шов. Поперёк. И они улыбаются этим швом. Сегодня утром их было очень много. В каждом вагоне. И все поворачивались ко мне. Одновременно.

Он говорил без выражения, короткими фразами. Слова выходили легче, чем он думал. Будто прорвало трубу, которая три дня держала давление.

— А тот мужик в пальто?

— Я ошибся. У него лицо было. Нормальное. Я проверил, когда поезд уходил.

Кравцов долго молчал, а когда поднял голову, Илья увидел, что глаза у него мокрые. От дыма, наверное, решил

Илья. От холодного ветра в переулке.

— Это бред, — сказал Кравцов. — Вы понимаете, что это бред? Так не бывает. Этого не может быть.

— Понимаю.

— У неё грязное стекло. Там пятно было в углу. И лампа.

— Понимаю.

— Я ничего не видел.

— Хорошо.

Кравцов смотрел на него ещё секунду и ждал, что Илья начнёт спорить и доказывать. Илья не спорил. Тогда Кравцов развернулся и быстро, не оглядываясь, пошёл к служебной двери, и дверь за ним закрылась.

Илья постоял ещё немного в пустой курилке и пошёл домой пешком. Мимо ларька он прошёл, не поднимая головы.

* * *

Дома бутылка стояла в шкафчике, где он её оставил ночью. Почти пустая, на доньшке.

Илья сел за кухонный стол, поставил её перед собой и долго смотрел на неё, не наливая.

Всё было потеряно. Работа. Пятнадцать лет. Комиссия в пятницу — формальность, он это понимал: видео, докладная, устранение и тремор, который никуда не денется за два дня, даже если он совсем перестанет пить. Особенно если перестанет. Его уволят с такой формулировкой в трудовой, что потом не возьмут даже в охрану к магазину. И он останется в этой квартире, с этой бутылкой, с телевизором под

полотенцем.

Налить было бы так просто. Держаться больше было не за что. Не было смены, для которой нужны ровные руки, не было Сомова, которому надо показывать трезвое лицо, а исход медкомиссии был уже известен. Все причины бросить, которые у него были позавчера, кончились сегодня утром на краю платформы.

Осталась одна.

Он думал о белом лице Кравцова в коридоре. О его пальцах на запястье, впившихся до боли. О словах «я ничего не видел», сказанных так, как говорят люди, которые видели всё. Сержант с порезом на подбородке, который утром подходил к нему с алкотестером, а через три часа соврал напарнику, чтобы не везти Илью в отдел, — он видел. Трезвый. Ему не с чего было видеть: у мальчишки не было стажа за спиной и фляжки в кармане, и руки у него если и дрожали, то не с похмелья. Было только мутное пыльное стекло, лампа сверху и темнота внутри щита.

Если это видел Кравцов, значит, это была не белка.

А если это была не белка, значит, Нина Аркадьевна сидела сейчас в своей дежурке, вписывала слова в кроссворд, и под очками на цепочке у неё не было лица.

Илья взял бутылку, встал, подошёл к раковине. Постоял над ней. Потом открутил крышку и медленно, глядя, как тёмная струя уходит в слив, вылил всё до последней капли. Запах ударил в нос, густой, коньячный, и желудок скрутило

так, что пришлось упереться ладонью в край раковины. Он стоял, пока не прошло.

Из-под раковины он вытащил пакет с запасом — три бутылки, купленные неделю назад по акции, — и вылил их тоже, одну за другой. Последней вылил фляжку и долго держал её под краном. Кухня пропахла коньяком так, что закружилась голова.

Он не знал, выдержит ли. Знал, что ночью будет хуже, чем прошлой: руки начнут трястись, как не тряслись никогда, будет пот, и холод, и сердце, и, может быть, что-то похуже. Девушка в аптеке сказала: резко — опасно. Он помнил. Он вылил всё без всякой уверенности, что справится: если с ним сейчас что-то будет происходить, он хотел знать наверняка, что это не из бутылки.

Пустые бутылки он сложил в пакет и вынес на лестничную площадку, к мусоропроводу. Вернулся, сел на кухне и стал ждать.

К шести вечера его начало знобить, к восьми появился пот. Он сидел на кухне и набирал в телефоне трясущимися пальцами, с ошибками в каждом слове: отмена, сколько суток. Статьи были одинаковые, будто написанные одной рукой: на вторые-третьи сутки, зрительные галлюцинации, чаще всего мелкие существа, насекомые. Требуется госпитализации.

Он положил телефон на стол. Экран погас, и Илья успел заметить в чёрном стекле размытый жёлтый круг кухонной

лампы и край собственного подбородка. Он перевернул телефон экраном вниз и больше не поворачивал.

Фотография на холодильнике белела справа, на краю зрения. Он почти повернулся к ней. Почти. Но встал, взял телефон, ушёл в комнату, положил его на тумбочку, лёг на диван и накрылся двумя одеялами, хотя в квартире было жарко.

* * *

Звонок раздался в начале второго ночи.

К этому времени Илью уже трясло — всё тело, мелкой противной дрожью. Он лежал на диване под двумя одеялами, мокрый насквозь, и стучал зубами. Капал кран. Гудел холодильник. Лифт ходил вверх-вниз, вверх-вниз. Телефон на тумбочке у дивана зазвонил резко, и Илья вздрогнул так, что чуть не свалился на пол.

Номер был незнакомый. Он взял трубку.

— Алло.

В трубке сначала молчали, затем раздался голос, молодой, приглушённый, как сквозь ладонь:

— Это Кравцов. Сержант. Мне ваш номер... у вашего Сомова в журнале был. Извините, что поздно.

— Ничего.

Опять молчание. Илья слышал в трубке фон — гулкий, с далёким эхом — и узнал его сразу: пустой вестибюль ночью, когда не ходят поезда и под сводом гуляет только сквозняк из тоннелей.

— Меня в ночь оставили, — сказал Кравцов. — Смен-

щик заболел, поставили меня на вторую подряд. Один я тут. На станции. Метро уже закрыто, только дежурные остались. Уборщица ваша. И... — он запнулся. — И она. В дежурке.

Илья сел на диване. Одежда сползла.

— Ты туда ходил? К щиту?

— Нет. — Пауза. — Я в стекло кассы посмотрел. На неё, когда она мимо шла. Там свет сверху. А в кассе темно.

Илья молчал и слушал, как Кравцов дышит в трубку — часто, неровно, прикрывая микрофон ладонью.

— Я ничего не видел, — сказал сержант. — Понимаете? Я ничего не видел. Но вы можете прийти? Пожалуйста. Я не знаю, кому ещё звонить.

Илья посмотрел на часы, на свои руки, которые плясали так, что он с трудом держал телефон у уха, затем в прихожую, где на гвозде у двери висела форма — нет, форма осталась в шкафчике, в раздевалке. На гвозде висела только пустая проволочная вешалка, с которой он в последний раз снял китель. Она покачивалась на сквозняке от форточки, лёгкая и пустая, и тень от неё на обоях была похожа на плечи без головы.

— Буду через двадцать минут, — сказал он.

Глава пятая. Ведро

Ночью город был другим.

Илья шёл по нему, как по дну пересохшего бассейна: всё знакомое, всё на своих местах, и всё неправильное. Фонари горели через один, и между ними асфальт проваливался в густую темноту, а под фонарями лежали круги жёлтого света, в которых каждая трещина, каждый окурок, каждая пробка от пивной бутылки были видны резко и отдельно. Он шёл от круга к кругу. Между ними ноги ступали наугад, и один раз он чуть не упал, наступив на край бордюра.

Трясло его теперь не только руками. Трясло всего, изнутри, как старый холодильник, когда включается компрессор. Зубы стучали, хотя холодно не было: под курткой он весь был мокрый, пот тёк по спине, и ветер из переулков прохватывал насквозь. В ушах тонко, непрерывно звенело.

На третьем квартале он увидел их в первый раз.

Под фонарём, у края светового круга, на асфальте шевелилось что-то мелкое и тёмное. Он подумал — листья. Октябрь, ветер. Только эти бегали: чёрные, с горошину, как жуки, они вытекали из темноты в свет, перебегали асфальт наискосок, сбивались в кучку, рассыпались и исчезали в темноте с другой стороны. Их были десятки. Он остановился и смотрел, чувствуя, как на руках, под рукавами, поднимаются волосы.

Он присел на корточки у края круга и протянул к ним руку.

Жуки исчезли все разом, когда его пальцы оказались над ними. На асфальте ничего не было. Трещина. Окурок. Пробка. Он разглядывал свою руку над пустым асфальтом, и рука плясала так, что пальцы сливались в размытое пятно.

Вот оно, подумал он. Мелкие существа. Насекомые. Как в статье.

Странно, но от этого стало легче. Эти были его: понятные, описанные, с названием и диагнозом. Они бежали по асфальту под обычным фонарным светом, без всякого стекла и отражения, и исчезали, когда он протягивал к ним руку. Это был просто мусор, который отравленный мозг выбрасывал на край зрения.

Он поднялся и пошёл дальше. Жуки бежали за ним от фонаря к фонарю, по краю светового круга, и он старался на них не смотреть.

* * *

Станция ночью была закрыта. Стеклопанные двери главного входа заперты изнутри на цепь, за ними темнел вестибюль верхнего яруса, и только в дальнем конце, у эскалаторной шахты, горела одна дежурная лампа. Илья обошёл павильон и вышел в переулок, к служебному входу, тому самому, через который все эти годы спускался на смену в половине четвёртого утра.

Кравцов ждал у двери, прижавшись спиной к стене в тени

козырька, и когда Илья вышел из-за угла, сержант дёрнулся, и рука его метнулась к кобуре.

— Это я, — сказал Илья.

Кравцов опустил руку и выдохнул. В свете фонаря над дверью лицо у него было серым, осунувшимся. Порез на подбородке запёкся тёмной коркой, бумажки на нём больше не было.

— Вы пешком? — спросил он.

— Пешком.

Кравцов посмотрел внимательнее: на мокрые волосы, прилипшие ко лбу, на руки, которые Илья засунул в карманы и которые всё равно было видно, потому что карманы ходили ходуном.

— Вам плохо.

— Бросил пить, — сказал Илья. — Сегодня. Всё вылил.

— Сегодня? — Кравцов нахмурился. — Совсем?

— Совсем.

— Так нельзя. У меня дядька... — Он осёкся, и Илья вспомнил, что почти то же самое уже слышал от Марата. У всех, оказывается, были дядьки. — Так нельзя резко. Опасно.

— Знаю. Глицин пью. Магний. Толку ноль. — Илья вытер лицо рукавом. — Слушай. Если я буду что-то видеть... Такое, чего ты не видишь. Ты мне говори. Сразу. Договорились?

Кравцов кивнул не сразу.

Он открыл дверь своим ключом, и они спустились по узкой служебной лестнице, мимо щитков и огнетушителей, мимо дверей с табличками «ЭЧ», «СЦБ», «Посторонним вход воспрещён». Этой лестницей Илья ходил редко: по стоящему эскалатору было быстрее. Пахло сыростью и старой масляной краской. На площадке перед выходом в нижний вестибюль Кравцов остановился и повернулся к Илье. Говорил он шёпотом, хотя здесь их никто не мог слышать.

— Я не хотел вам звонить. Честно. До часу сидел и думал, что не буду. Что это всё... что мне показалось. Что это вы меня накрутили. А потом она мимо будки прошла. Нина эта. Она в служебный туалет ходила и мимо кассы шла. Касса закрыта, там темно, а стекло большое. И свет сверху, как в коридоре. — Он сглотнул. — Я специально в журнал смотрел. А потом всё равно посмотрел.

— И что?

— То же самое. — Кравцов опустил глаза. — Только дольше. Она у кассы остановилась. Будто почувствовала. Стояла боком к стеклу, лицом к дежурке, минуту, наверно. А в стекле повернулась лицом. И это... то, что вместо лица... оно было повёрнуто ко мне. Всё это время.

Илья молчал.

— Потом она ушла. Как ни в чём не бывало. — Кравцов поднял голову. — А я сидел в будке и не мог встать. Ноги не работали. Минут десять. Потом позвонил вам.

— Почему мне?

Кравцов посмотрел на него с удивлением.

— А кому? Палычу? Маме в Тверь? Она мне каждый вечер в девять звонит, спрашивает, поел ли я. Я ей скажу: мам, у нас дежурная без лица? Она на первом же автобусе приедет меня домой забирать. — Он помолчал. — Вы единственный, кто это видел. Кроме меня. Значит, или мы оба психи, или...

Он не договорил, да это было и не нужно.

* * *

Трубки под сводом не горели, только у пилонов светились редкие дежурные лампы в матовых плафонах, и от каждой на полированный гранит ложилось мутное светлое пятно, а между пятнами стояла полутьма. Эскалаторы были выключены, турникеты стояли с опущенными створками. Где-то далеко в тоннеле мерно гудел вентилятор, и воздух пах холодным железом и креозотом, как всегда, только сильнее, будто ночью станция выдыхала всё, что держала в себе днём.

Стеклянная будка полицейского поста стояла у противоположной стены, в ней горел свет. Дежурка Нины Аркадьевны была за будкой, в глубине, у служебного прохода к платформе; дверь её была приоткрыта, и из щели на гранит падала жёлтая полоса. Над дверью висели часы. Без двадцати два.

А посреди вестибюля, в одном из светлых пятен, мыла пол тётя Валя.

Она работала так же, как днём: неторопливо, основательно, широкими полукругами, отжимая швабру в ведро на колёсиках, и тихонько напевала себе под нос какой-то старый

мотив без слов. На ней был тот же синий халат, та же вязаная кофта. Ведро дребезжало по граниту, звук разносился под сводом и возвращался к ней, и она, кажется, этого не замечала.

Илья стоял в темноте у выхода с лестницы и не мог сделать ни шагу.

— Она здесь всю ночь, — прошептал Кравцов. — С полуночи моет. Я ей сказал, что вы придёте. Она ругалась.

Тётя Валя подняла голову и прищурилась в темноту.

— Это кто там шепчется? Саша, ты? Привёл, значит, своего?

Она пошла к ним, толкая перед собой ведро, и Илья, делать нечего, вышел ей навстречу, в свет.

— Ох, — сказала тётя Валя, разглядев его. — Ох ты, господи. Илюша. Ты на себя-то посмотри. Ты зачем пришёл? Ты больной весь. Тебе лежать надо.

— В шкафчике забыл, — сказал он. — Кое-что.

— Кое-что он забыл. Ночью. Я ж тебе говорила — звони, вынесу. — Она покачала головой, потом полезла в карман халата и достала бумажный свёрток. — На вот. Бутерброд с колбасой. Себе брала, да что-то не хочется. Съешь.

Он взял. Бумага была тёплая от её кармана.

— Тётъ Валь. Иди домой. Правда. Иди прямо сейчас.

— Ещё чего. — Она махнула на него рукой. — У меня тут до пяти работы. Вон, к платформе ещё не подходила. Ребята из тоннеля скоро пойдут, путейцы, натопчут, а мне по-

том отмывай. — Она посмотрела на Кравцова, потом снова на Илью, и взгляд её стал серьёзнее. — Вы чего тут вдвоём затеяли-то? Ночью? Ты из-за утреннего, что ли? Из-за видео этого?

— Нет, — сказал Илья. — Не из-за видео.

Она ждала, что он скажет ещё что-нибудь. Он не сказал. Тётя Валя вздохнула, поправила косынку и покатила ведро к дальнему концу вестибюля, туда, где за аркой начинался проход к платформе.

— Бутерброд съешь, — сказала она, не оборачиваясь. — Не выбрасывай.

* * *

Кравцов привёл его в кассовый зал.

Это был закуток сбоку от турникетов, отгороженный от вестибюля стеклянной стенкой, где днём сидели кассиры, а теперь, с тех пор как поставили автоматы, не сидел никто. Дверь закрывалась на простую защёлку. Внутри было темно, пахло пылью и старой бумагой: два стула, стол, на столе выключенный компьютер с толстым монитором и стопка бланков, пожелтевших по краям. Стекло во всю стену выходило прямо в вестибюль, и из темноты было видно всё: пилоны, пятна света на граните, будку, дверь дежурки с жёлтой полосой, арку прохода к платформе, где маячила синяя фигурка тёти Вали со шваброй.

— Отсюда видно, — прошептал Кравцов. — А нас не видно. Там свет, а тут темно.

Снаружи, из освещённого вестибюля, стекло было тёмным, как окно поезда в тоннеле. Любой, кто посмотрит сюда, увидит только себя.

Они сели. Кравцов положил рацию на стол, убавив звук почти до нуля. Илья развернул бутерброд: хлеб, масло, два кружка варёной колбасы. Горло сжималось, не пропускало, и он долго жевал каждый кусок. Но доел весь, потому что она сказала не выбрасывать.

Они ждали. Время шло медленно. Часы над дверью дежурки показывали без десяти два. Два. Пять минут третьего. Тётя Валя мыла пол у арки и напевала. Жёлтая полоса из двери дежурки лежала на граните неподвижно. Нина Аркадьевна не выходила.

На столе, у самой руки Ильи, по пожелтевшим бланкам пробежало что-то мелкое, чёрное.

Он дёрнулся. Посмотрел. Ещё одно. И ещё. Жуки, те же, уличные, с горошину, выбегали из-под монитора, бежали по стопке бумаг к краю стола, переваливались через край и исчезали в темноте. Ещё несколько выбежало за ними. Через секунду он увидел, что они ползут по стене, по стеклу, по полу, по его собственному колену.

— Саня, — сказал он одними губами. — На столе. Видишь?

Кравцов посмотрел на стол.

— Нет. Бумаги.

— А на стекле?

— Ничего. Пыль.

— На моём колене?

Кравцов посмотрел на его колено, затем на лицо.

— Ничего нет, — сказал он. — Там ничего нет.

Илья кивнул. Закрыв глаза, досчитал до десяти, открыл. Жуки ещё бегали, но меньше. Он повторял про себя: там ничего нет. Мальчишка сказал, ничего нет. Жуки бегали по колену, а он не чувствовал их лапок, и это тоже было правильно, потому что их не было.

— Спасибо, — сказал он.

Кравцов смотрел на него в темноте, и Илья видел, как блещут его глаза.

— А раньше, с поездами... вам некого было спросить?

— Некого было спрашивать, — сказал Илья.

Часы над дежуркой показывали четверть третьего. Тётя Валя домыла у арки и перебралась к ближнему пилону, на полпути между аркой и дежуркой, и её пение доносилось оттуда обрывками.

— Вы давно пьёте? — спросил вдруг Кравцов без всякого упрёка, просто чтобы спросить.

— Давно.

— Из-за чего?

Илья смотрел на стекло, на пустой вестибюль за ним.

— Было из-за чего, — сказал он. — Потом стало не из-за чего. А привычка осталась. Так бывает.

Кравцов не стал спрашивать дальше, а рассказал своё:

— А я в полицию пошёл, потому что у нас в Твери участковый был, дядя Коля. Он меня в двенадцать лет с моста снял. Я на перила залез, на спор. А он мимо ехал на своём узике, остановился, подошёл тихо так, сзади, и говорит: слезай, Санёк, пойдём мороженого поедим. Я слез. Он мне правда мороженое купил. И матери ничего не сказал. — Кравцов помолчал. — Я думал, я тоже так буду. Людей с перил снимать.

Илья повернул голову. В темноте кассы лицо Сани было почти неразлично, только глаза и светлое пятно лба.

— Ты сегодня утром меня с перил снял, — сказал Илья. — Когда Палыча не пустил.

Кравцов ничего не ответил, только коротко дёрнул плечом.

* * *

Путейцы вышли из тоннеля в двадцать минут третьего.

Сначала их стало слышно: из прохода к платформе донеслись гулкие, тяжёлые шаги рабочих ботинок и негромкий лязг инструмента, и Илья, сидевший неподвижно уже полчаса, почувствовал, как напрягся рядом Кравцов. Затем они вышли под арку, в свет, и оказались тем, кем и должны были оказаться: тремя мужчинами в оранжевых сигнальных жилетах поверх тёмных роб, в касках с выключенными фонарями. Один нёс на плече длинный ломик. Второй — сумку с инструментом. Третий шёл просто так, опустив руки.

Обычная ночная бригада. Илья сотни раз видел таких в

начале своих смен: грязные, с серыми лицами, они поднимались из тоннелей и шли к раздевалке, не глядя по сторонам.

Эти шли к дежурке.

Дверь дежурки открылась шире, и на пороге встала Нина Аркадьевна. Синий жакет. Очки на цепочке. Тапочки. Она стояла в проёме, освещённая сзади, и молча смотрела на подходящих рабочих. Они тоже молчали. Шли к ней мерно, в ногу, и Илья вдруг понял, что за всё время, пока они пересекали вестибюль, никто из четверых не произнёс ни слова, даже «здрасьте» или «Аркадьевна, чайник горячий?». Слышны были только шаги и звяканье ломика.

Тётя Валя их не заметила. Она мыла пол у пилона, спиной к ним, и напевала, швабра ходила полукругами, ведро на колёсиках стояло рядом.

Путь рабочих лежал как раз мимо этого пилона.

Первый прошёл мимо тёти Вали, не повернув головы. Второй тоже. Третий — тот, что шёл с опущенными руками, — задел ведро носком ботинка. Несильно. Ведро качнулось, мутная вода плеснула через край на гранит и на ботинок рабочего.

— Ох, извини, милый! — Тётя Валя обернулась, всплеснула руками, засмеялась. — Не видала вас! Я сейчас, сейчас вытру...

Она нагнулась к ведру, чтобы оттащить его в сторону. И замерла.

Илья видел её лицо отчётливо, в пятне света от дежурной

лампы: она нагнулась над ведром, и лампа светила сверху, прямо на неё. Вода в ведре была тёмная, почти чёрная, она колыхалась после толчка, и в ней, должно быть, отражалось всё, что было над ней: свод, лампа, пилон. И три фигуры в оранжевых жилетах, стоящие рядом.

Улыбка медленно сошла с лица тёти Вали. Рот остался приоткрытым, глаза расширились. Она смотрела в ведро не отрываясь, и Илья видел, как дрогнули её губы и как рука, лежавшая на ручке ведра, начала подниматься — медленно, тяжело, сама по себе — ко лбу. Щепотью. Перекреститься.

— Господи, — сказала она едва слышно, но под пустым сводом это слово долетело до кассы. — Господи Иисусе...

Она не успела донести руку до лба.

Трое рабочих повернули головы к ней одновременно. Повернули, все трое, в одну и ту же долю секунды, одним и тем же движением, как поворачиваются стрелки приборов. Лица у них были обычные, человеческие, серые, с щетиной, и на каждом одно и то же отсутствие выражения.

Потом они двинулись.

Первый рабочий шагнул к тёте Вале и положил ладонь ей на лицо — на рот и нос сразу, широкую ладонь в грязной рабочей перчатке. Второй взял её за правую руку, ту, что поднималась ко лбу, и легко отвёл в сторону. Третий взял за левую. И они опустили её на пол. Аккуратно. На мокрый гранит, рядом с ведром.

Тётя Валя забилась. Ноги в стоптанных туфлях заскребли

по граниту, одна туфля слетела и отлетела в сторону. Тело выгнулось дугой. Из-под ладони выходило только придушенное мычание — в кассе его можно было лишь угадать. Рабочие держали её. Просто держали, спокойно, каждый своё: один лицо, двое руки. Как держат трубу, пока другой закручивает гайку.

А Нина Аркадьевна стояла в дверях дежурки и смотрела. Руки сложены на животе. Очки на цепочке.

Илья не помнил, как оказался на ногах. Не помнил, как рука его нашла защёлку на двери кассы. Помнил только, что пальцы плясали на металле, срывались, защёлка не поддавалась, и он дёргал её снова и снова, и не мог, не мог, не мог.

Рядом с ним Кравцов вынул из кобуры пистолет.

Илья услышал щелчок и обернулся. Сержант стоял у стекла, держа пистолет обеими руками, как учили в тире, стволом туда, где на полу билась тётя Валя. Только ствол ходил так, что его чёрный зрачок описывал в воздухе круги, и Илья видел побелевшие костяшки пальцев на рукоятке и прыгающий кадык.

— Их четверо, — сказал Илья шёпотом, сипло, сам не зная, зачем говорит. — Четверо, Саня. Ты не попадёшь. Ты даже не знаешь, можно ли в них...

Кравцов не ответил. Он целился и не стрелял. Там, под мутным светом, женщину держали трое обычных людей с человеческими лицами, в оранжевых жилетах метрополитена.

Ноги тёти Вали на граните скребли всё медленнее.

Потом перестали.

Рабочие держали её ещё с минуту, может быть, дольше. Наконец первый убрал ладонь с её лица, и лицо было обычное, круглое, с открытым ртом и открытыми глазами, которые смотрели в тёмный свод, туда, где не горели трубки. Косынка сбилась набок, из-под неё выбилась седая прядь.

Рабочие выпрямились. Двое взяли её — один под мышки, другой за ноги, — подняли легко и понесли к арке, к проходу на платформу, туда, откуда пришли. Третий подобрал с пола слетевшую туфлю, посмотрел на неё секунду и пошёл за ними, держа туфлю в руке.

Они скрылись под аркой. Шаги удалялись — мерные, в ногу — и затихли где-то внизу, на платформе, а потом, едва уловимо, послышался глухой звук, будто что-то тяжёлое мягко спустило с края платформы на пути. Стало тихо. Только гудел вентилятор в тоннеле.

Кравцов опустил пистолет. Руки у него тряслись теперь так же, как у Ильи. Он смотрел на них и, кажется, не понимал, чьи они.

Илья стоял у двери кассы, держась за защёлку, которую так и не открыл, и смотрел на пилон: на мокрый гранит у его основания, на ведро на колёсиках, стоявшее там, где его оставили, на швабру, лежавшую рядом.

— Ты видел? — спросил он, хотя знал ответ. Ему было нужно, чтобы кто-нибудь сказал это вслух.

— Видел, — сказал Кравцов.

Первое «видел» — без оговорок.

* * *

Нина Аркадьевна вышла из дверей дежурки.

Она неторопливо прошла через вестибюль к пилону, шаркая тапочками по граниту, — левая чуть твёрже правой, — и остановилась у ведра. Посмотрела на пол: на лужу мутной воды, расплесканной у пилона, на следы ботинок, на длинную мокрую полосу там, где несли.

Затем подняла швабру.

Она мыла пол неторопливо, основательно, широкими полукругами — в точности так, как мыла его тётя Валя, будто подсмотрела и выучила. Отжимала швабру в ведро и снова мыла. Лужа исчезала. Следы исчезали. Мокрая полоса, ведущая к арке, исчезала под шваброй метр за метром. Нина Аркадьевна не поднимала головы, и очки на цепочке показывались у неё на груди.

Илья смотрел на неё сквозь стекло кассы и чувствовал, как внутри у него что-то рвётся, медленно, по волокну. Тётя Валя. Сушки с маком. Сахар под язык. Бутерброд, который ещё лежал у него в желудке, тяжёлый, непереваренный. «Иди домой, Илюша. Поспи». Он сказал ей держаться от дежурки подальше. Сказал — и ушёл, ничего не объяснив. Потому что объяснение было бредом и он боялся, что она посмотрит на него, как все остальные.

Она посмотрела. В ведро. И увидела.

На столе, у его локтя, едва различимо зашуршала рация.

Кравцов дёрнулся к ней, но не успел. Из приглушённого динамика раздался голос — тихий, но в мёртвой тишине кассы отчётливый, будто кто-то сказал это прямо им в ухо:

— Саня. Саня, приём. Ты где?

Голос Палыча. Или очень похожий на голос Палыча. Ровный, без одышки, без привычной хрипотцы. Слишком ровный.

— Я наверху, — сказал голос. — У входа. Поднимайся ко мне, Саня. Поднимайся.

Кравцов схватил рацию и вывернул регулятор до щелчка. Динамик умолк. Сержант держал рацию обеими руками, смотрел на Илью, и губы у него шевелились.

— Палыч домой ушёл, — прошептал он. — В восемь вечера. Дневную отстоял, да ещё с переработкой. Он сказал, что спать будет до утра. — И ещё тише: — Я, когда за вами наверх пошёл, в эфир сказал, что у входа. По инструкции. Думают, будка пустая. Вот он меня у входа и ищет.

Илья не ответил. Он смотрел в вестибюль.

Швабра Нины Аркадьевны остановилась.

Дежурная стояла у пилона посреди вымытого, влажно блестящего гранита, держа швабру неподвижно, и голова её медленно, очень медленно поднималась. Она поворачивала голову — плавно, без рывка, как антенна, ищущая сигнал, — к стеклянной стене кассового зала.

К тёмному стеклу, в котором для неё, стоящей на свету, не было ничего, кроме её собственного отражения.

Глава шестая. Эскалатор

Нина Аркадьевна прислонила швабру к пилону и пошла к кассе.

Шла она неторопливо, шаркая тапочками; мокрый гранит блестел у неё под ногами, очки на цепочке покачивались на груди. Шла прямо на них. Прямо на стекло, за которым в темноте стояли Илья и Кравцов и не дышали.

Илья видел её лицо — обычное, немолодое, с тяжёлыми веками, с сеточкой морщин у рта, с седыми волосками над верхней губой. Лицо человека, который тридцать лет просидел в дежурке под лампой дневного света. Никакого воска. Никакого шва. Сквозь прозрачное с этой стороны стекло на неё можно было смотреть прямо, и так она была просто Ниной Аркадьевной.

Она остановилась у самого стекла, так близко, что Илья, стоявший в полуметре по ту сторону, видел поры на её носу и рыжеватый налёт от сигарет на передних зубах. Она наклонилась и приблизила лицо к стеклу почти вплотную, но ладони козырьком, как делают у витрины, не поставила. Она просто смотрела. В стекло. В себя.

Она стояла так долго.

Кравцов стоял совсем рядом, неподвижно, и Илья слышал, как у него в горле что-то щёлкает при каждой попытке сглотнуть. Пистолет сержант держал опущенным вдоль бед-

ра. Палец лежал на скобе, и Илья видел, как этот палец дрожит.

Краем глаза Илья видел и жуков: мелкие, чёрные, они бежали прямо по стеклу, по лицу Нины Аркадьевны, как по экрану, и он не смел сказать про них вслух и спросить Кравцова, видит ли тот. Он смотрел на лицо дежурной и заставлял себя не моргать.

Нина Аркадьевна медленно подняла руку и приложила ладонь к стеклу. Пальцы короткие, с обгрызенными ногтями, с обручальным кольцом, врезавшимся в распухшую фалангу. Ладонь легла как раз напротив груди Ильи, и он увидел, как по стеклу вокруг её пальцев расплывается мутный ореол от тепла.

От тепла, подумал он. У неё тёплые руки.

Она отвела ладонь, и отпечаток на стекле медленно, секунда за секундой, начал таять. Нина Аркадьевна посмотрела на него, выпрямилась, поправила очки и пошла обратно, к пилону, к швабре, не оглядываясь.

Кравцов выдохнул так, что Илья испугался, что тот сейчас упадёт.

* * *

Нина Аркадьевна домыла пол, отнесла ведро и швабру к служебной двери у арки и поставила их там аккуратно, как поставила бы тётя Валя. Вернулась в дежурку. Жёлтая полоса на граните дрогнула и сузилась: дверь прикрыли, оставив щель в ладонь.

Через минуту из дежурки донёлся звук, который Илья знал давно: дребезжащий звонок старого внутреннего телефона. Один. Второй. Затем тишина — сняли трубку. Ни «алло», ни «дежурная слушает». Тишина длилась и длилась, и Илья понял, что Нина Аркадьевна стоит у пульта с трубкой у уха и молчит, и тот, кто на другом конце, тоже молчит, и так они разговаривают.

Наконец трубку положили.

— Надо уходить, — прошептал Кравцов. — Сейчас. Пока она там.

— Куда?

Кравцов уставился на него.

— Наверх. Куда ещё. Через служебный, как пришли. Выйдем в переулок, а там... — Он запнулся. — А там разберёмся. Там люди. Такси, машины, светло.

— Там твой Палыч.

Кравцов дёрнулся.

— Может, это и правда Палыч, — сказал он быстро, горячо, как говорят то, во что очень хотят верить. — Может, он проснулся, увидел, что меня на вторую поставили, и пришёл. Он такой, он может. Он ворчит, но он... он в прошлом месяце мне денег занял до зарплаты, когда у меня за комнату не хватало. Просто так занял. Может, он пришёл помочь.

— Голос слышал?

Кравцов молчал.

— Ты с ним сколько работаешь?

— Восемь месяцев.

— И он тебе через полвестибюля про чай орал с хрипотцой, как у прораба. А этот, по рации, как диктор. Ни одышки, ни хрипа. Ты слышал.

— Рация искажает.

— Позвони ему.

— Что?

— На мобильный. Если он дома спит, возьмёт сонный и пошлёт тебя. Если не возьмёт — значит, спит крепко. Позвони.

Кравцов секунду смотрел на него, потом вытащил из нагрудного кармана телефон. Руки у него дрожали, и он дважды промахнулся мимо нужной строчки в списке контактов, прежде чем нажал. Экран светился в темноте и бросал снизу на лицо сержанта голубоватый отсвет. Илья успел заметить в углу экрана пропущенный вызов: «Мама, двадцать один ноль ноль». Кравцов его не заметил или сделал вид.

Он включил громкую связь, убавил звук, поднёс телефон к губам. Гудок. Долгий, ровный. Второй.

И где-то далеко, за пилонами, там, где начиналась эскалаторная шахта, — едва слышно, тонко, на пределе слуха, — заиграла мелодия.

Эту мелодию Илья за два дня слышал уже не раз: какая-то старая эстрадная песня, «Позови меня с собой». Когда Палычу звонили на посту, вестибюль вздрагивал от первых аккордов, и Палыч, чертыхаясь, лез в карман.

Мелодия играла далеко наверху, в эскалаторной шахте, стекала вниз по неподвижным ступеням, дробилась эхом.

Третий гудок. Четвёртый. Мелодия играла в такт гудкам. Потом оборвалась.

— Саня, — ровно сказал телефон в руке у Кравцова. — Я наверху. Поднимайся.

Кравцов нажал отбой — не сразу, палец долго не попадал в красный кружок. Опустил телефон и стоял, глядя в темноту, туда, где уходила вверх шахта эскалатора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.